

В.НОСИК АННА и АМЕДЕО История тайной любви Ахматовой и Модильяни

В.Носик



# Анна и Амедео

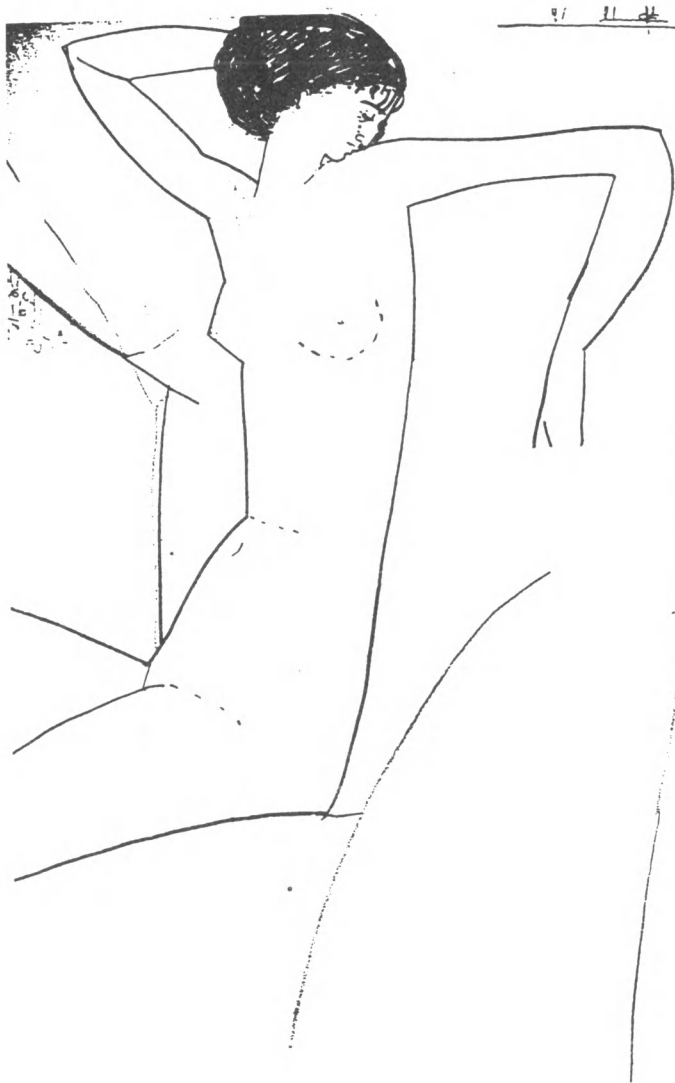
История тайной любви  
Ахматовой и Модильяни



Издательство «Радуга»

# Анна и Амедео





**Б.Носик**

# Анна и Амедео

**История тайной любви  
Ахматовой и Модильяни,  
или  
Рисунок в интерьере**

*Документальная повесть*



*Москва*  
*ОАО Издательство «Радуга»*  
*1997*

ББК 84.Р7-4  
Н72



Художник *Р. Сайфулин*  
Редактор *К. Атарова*

### **Носик, Б.**

Н72 Анна и Амедео. История тайной любви Ахматовой и Модильяни, или Рисунок в интерьере (Документальная повесть). — М.: ОАО Издательство «Радуга», 1997. — 240 с.

Эта увлекательная книга открывает малоизученные страницы биографии Анны Ахматовой — ее взаимоотношения с известным итальянским художником Амедео Модильяни. Перед читателем встают картины предреволюционной России 10-х годов, жизнь парижской художественной богемы начала века и — пунктиром — дальнейшие судьбы центральных героев книги — Ахматовой, Модильяни, Гумилева...

В Приложении помещены воспоминания самой Ахматовой о ее встречах с Модильяни.

Н  $\frac{4700000000 - 070}{030(03) - 97}$  без объявления

ISBN 5-05-004517-7

© ОАО Издательство «Радуга», 1997

## Кратчайшее вступление

Прежде чем вывести героев этой любовной истории на ночную улицу Бонапарта в Париже, на аллее Люксембургского сада или на юго-западную окраину французской столицы близ Версальских ворот, то бишь Порт де Версай, автор этой скромной и в высшей степени документальной (насколько вообще могут поддаваться строгому документальному учету события ушедшей жизни и растаявшие в воздухе любви) книжечки хотел бы (несмотря на предвидимые им заранее протесты ученых — ахматологов и модильяниеведов, в чью угоды так бесцеремонно вторгается автор) познакомить своего читателя с самими героями, с их окружением и, так сказать, с интерьером, а также с тем, что в их жизни предшествовало парижской их встрече. Затем в обществе тех, кому книжка к этому времени еще не наскучит, автор проследит за последовавшим после той встречи дальнейшим течением жизни своих героев, а может, и дальнейшим развитием этой, казалось бы, завершенной любви. Последнее представляется нелишним, тем более что любовная история у всякого из нас (а у творческих людей с особенной остротой — вспомните только историю любви Цветаевой к неведомому Рильке или малознакомому Пастернаку) может продолжаться и за рамками реальной встречи (которой в иных случаях и не бывает вовсе). В данном же случае встреча была, и

притом была такой неизбежной, а жизнь их после тех упоительных летних недель повернулась так круто... Это более или менее известно, хотя связной ее (да и его) биографии пока не написано. И уж вовсе никто не писал о том повороте, который произвела в ее жизни (да и в его тоже) их весенняя встреча в Париже, вернее, обе весенние встречи — весной 1910 и 1911, не писал, как пережила их она, что они значили для нее самой, для ее стихов (а также для его скульптур и рисунков)... До самой ее смерти висел в изголовье у героини нашего рассказа, в любом интерьере, торжественно-прекрасный, почтительно-благопристойный, всему ее окружению и сонму поклонников известный модильяниевский рисунок, вдохновлявший царственные легенды и искусствоведческие штудии. Но вот недавно, совсем недавно, всплыли вдруг на венецианской выставке (и главное — были опознаны) другие, совсем иные, тоже прекрасные, но такие юные, лихие, нагие, вполне беспутные (для замужней-то дамы, для царско-сельской-то барышни в разгаре свадебного путешествия, для слепневской молодой барыни, а потом — для великой поэтессы, совести диссидентской России, для оксфордской докторши «*Non prois Causa*», для кого там еще?) рисунки, которые лишь таились до времени, лишь притворялись потерянными... Что до автора этой книжечки, то он, углубившись в модильяниевские альбомы, и сам, без помощи нелюбопытных докторов искусствоведческих и филологических наук, обнаружил... Впрочем, обо всем этом в свой черед, а пока — о героях нашей документальной повести, и сначала, конечно, о ней... *Ladies first...*

# Она — до встречи с НИМ

Она родилась у моря, в Одессе. Крошечная дачка Саракини стояла над морем, близ почты и обрыва на Большом Фонтане, на 11-й станции. Через год после рождения девочки ее отец, отставной флотский инженер-механик Андрей Антонович Горенко, получил какую-то службу у Великого князя Алексея Михайловича, и семья переехала в Царское Село, летнюю резиденцию царской семьи под Петербургом. «Вот оно! — воскликнут наблюдательные ахматологи. — Царское Село — это важно». «Да, но и Одесса, и море — это тоже не пройдет безнаказанным», — возразит автор этой книжечки. Не смотрите, что младенцу всего год или месяц (или даже остается сколько-то месяцев до выхода на сушу), — в эти месяцы, равные последующим десятилетиям, все, что происходит с младенчиком, и все, что творится вокруг, оставляет глубокий след в его душе. Так учил хитроумный Фрейд, и у нас больше нет указаний ему не верить. Ну, а если под боком у него «море Черное, точно чаша с вином» — такое и вообще на всю жизнь. К тому же удивительная



Одесса рядом, город южан, в крови у которых — коктейль почище даже тогдашнего петербургского (там ведь тоже, наряду с кровью пленительной русской речи, чуть не у каждого поэта текла в жилах какая-нибудь экзотическая кровь). Так что, если кто удивится, откуда у девочки (ее назвали Анечка) такая экзотическая, уж никак не северная краса, брякнем смело — из Одессы, там на каждом шагу были такие дивы (итальянки, гречанки, украинки, ах, украинки, турчанки, цыганки, еврейки, молдаванки). Сама поэтесса сообщила однажды (впрочем, уже в период позднего мифотворчества), что Анной ее назвали в честь бабушки, у которой родная мать (стало быть, прабабушка поэтессы) была татарская княжна Ахматова (по прямой линии от Чингисхана). Это уж вполне по-царско-сельски (даже Романовы любили напоминать, что ведут род от татарского мирзы Чета, да и прочие русские аристократы гордились кровью татарских князей). Отсюда и псевдоним будущей поэтессы, и рассказ о том, что этого татарского предка, хана Ахмата, убил ночью в его шатре подосланный русский убийца, чем и кончилось на Руси татарское иго. Так красиво, что и проверять подлинность истории не хочется (хотя наивная разоблачительница-подруга Н. Мандельштам напоминает, что уже была тогда некая переводчица Ахматова, не от нее ли псевдоним?). Прабабушка Анны вышла замуж за знатного симбир-

ского помещика. Дед с другой стороны (Стогов) был небогатым помещиком Можайского уезда, что в Подмосковье: Стогивы были сосланы из Великого Новгорода (где были много богаче) за бунт при Марфе Посаднице. Об украинских кровях разговору, похоже, вообще не было (в миф они, видно, не укладывались). Так или иначе, обе почтенные линии предков обнищали, и толк от них был невелик, а вот Черное море, доставшееся в наследство, оно сопровождало ее от рожденья до самого замужества. Взглянув на юной Аннушки удивительный нерусский профиль, не всякий вспоминал татарских ханов (немало, кстати, нашим нынешним барышням оставивших черт их несравненной прелести), белесых новгородских славянок из-под Киева или битву на льду Чудского озера, а вот древний-то черноморский берег, корабли из близкого Средиземноморья, Большой Фонтан, Севастополь, Херсонес Таврический как было не вспомнить?

Итак, искристую зиму, томительную и праздничную северную весну и великолепную багряную осень девочка проводила в Царском, где маленькие лошадки, экипажи, гвардейцы, нарядные дамы, а лето, начиная с семилетнего возраста, — близ Севастополя, на берегу бухты, в пленительном Новом Херсонесе. Там она бродила одна по пляжу, вольно плавала в море, загорала дочерна, дружила с рыбаками и за-

служила у местных прозвище «дикая девочка», так сообщает она вполне пристойно, но, может, даже и — «дикая девчонка». Кое-что о вольном этом приморском житье можно найти в ранней ее поэме (конечно, уже должным образом стилизованной и звучащей довольно-таки по-блоковски):

Ко мне приглывала зеленая рыба,  
Ко мне прилетала белая чайка,  
А я была дерзкой, злой и веселой  
И вовсе не знала, что это — счастье.  
В песок зарывала желтое платье,  
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга...

Легко представить себе ее — босоногую, длинноногую, худюшую, загорелую дочерна, в желтом платье — там, где «бухты изрезали низкий берег». Позднее откопали там из-под земли чудный греческий Херсонес у Прекрасной Гавани, и сколько ни повидал я за свою заграничную жизнь этих белых колонн у синего моря — и в Агридженто, и в Пестуме, на Кипре, на Кало Колонне, — того Херсонеса, Таврического, ввек не забыть. Может, и тогда, в начале века, какие-то обломки валялись на берегу, когда бродила тут дерзкая, загорелая девчонка, уже мечтавшая о любви. В поэме, написанной десятилетье спустя, есть прекрасный принц, или король, как всегда, сероглазый, конечно, но и рыбаки

там тоже есть, очень, впрочем, благовоспитанные рыбаки:

Я с рыбаками дружбу водила.  
Под опрокинутой лодкой часто  
Во время ливня с ними сидела,  
Про море слушала, запоминала,  
Каждому слову тайно веря.

И очень ко мне рыбаки привыкли.  
Если меня на пристани нету,  
Старший за мною слал девчонку,  
И та кричала: «Наши вернулись!  
Нынче мы камбалу жарить будем».

Поэма датирована 1914 годом, ее одобрил сам вздыхавший по юной поэтессе сероглазый король Блок, так что разница между царскосельской девочкой и кричащей «нынче мы камбалу жарить будем» девчонкой тут должным образом обозначена. Однако была ли она уже тогда очевидной, эта разница, когда она пряталась с рыбаками под лодкой, во время ливня, на берегу? И не был ли одним из тогдашних принцев какой-нибудь красивый мальчик-рыбак, пропахший рыбой? Впрочем, может, и нет. Время пастушеских и рыбацких идиллий тогда уже минуло, а время нового смешенья сословий и рас еще не наступило. Было время сероглазых королей. Все ли она рассказала в романтической поэме, что «запомнила чутким слухом»? И так ли

еще по-детски невинна была ее тогдашняя девичья молитва? Сказать наверняка не берусь.

А вечером перед кроватью  
Молилась темной иконке,  
Чтоб град не побил черешен,  
Чтоб крупная рыба ловилась  
И чтобы хитрый бродяга  
Не заметил желтого платья.

Она писала эту поэму в зеленом, чопорном Слепневе, и в душе ее при этом, похоже, звучали божественные стихи Блока об Италии («с ней уходил я в море»). По ее признанию, поэма эта была для нее расставанием с детством, с былой безмятежностью и дерзостью, с той озорной приморской Аннушкой, которая, по свидетельству друзей, прорывалась в ней из-под спуда и десять, и тридцать, и даже пятьдесят лет спустя. Что же до 1910 года, к которому мы клоним не торопясь наш рассказ, в тот год черноморской Аннушке оживать в ней и вовсе было несложно — это для нашей истории очень важно.

Итак, в летние месяцы — море, а в остальные девять — совершенно особый мир Царского Села, еще более царственно-церемонного, чем императорская столица Петербург. Ибо маленький поселок жил двором и им по большей части кормился, так что лихая крымская девочка всему, что

положено здесь было уметь — и держаться с достоинством, и быть гордой и неприступной, и складывать ручки, и кланяться, «учтиво и коротко ответить по-французски на вопрос старой дамы», — всему научилась, «что полагалось в то время благовоспитанной барышне». И конечно, «говела на Страстной в гимназической церкви», не более того. Французский она, по ее рассказам, выучила, «слушая, как учительница занималась со старшими детьми». Старшие — это сестра Инна (на три года ее старше) и брат Андрей (старше ее на шесть лет) — оба почти ею не упоминаются, оба умерли молодыми. Андрей покончил с собой. Был еще брат Виктор, убитый большевиками... Она, впрочем, редко ведь упоминала о семье, и это, мне кажется, дурной знак. Нет, она «не ненавидела» брата, «не предала» сестры, но и спаянной семьи, похоже, не было. Изредка отец брал ее «с собой в оперу...» При этом отца она не любила. А попробуйте отыщите у нее упоминание о смерти матери (в 1930-м). Чему научила ее мать в этом неудобном и недружном (отец сбежал из него) доме? Как вообще готовили «благовоспитанных барышень» к той жизни, которую так скучно называют «реальной»? Ахматова писала в старости, что представление о счастливом и несчастливом детстве — «вздор»... Бедная Анечка...

С детства она любила стихи, и мать, по

ее просьбе, бесчисленное число раз читала ей те, что помнила наизусть, — громогласного Державина и трогательно-напевного Некрасова («Савраска увяз в половине сугроба...»). А лет с одиннадцати она уже и сама, как многие русские подростки, писала стихи, много-много стихов, погонные метры стихов. Она вспоминает, что отец прочел ее стихи, когда ей было одиннадцать, и отчего-то назвал ее «декадентской поэтессой». Он был, впрочем, лишь морской механик и не обязан был разбираться в литературных течениях лучше, чем кумир левой французской интеллигенции тов. Жданов, сказавший почти те же слова сорок лет спустя. Спутником ее отроческих лет, опять же как у многих русских подростков (однако еще в большей степени — и потому что она сама так много писала, и потому что бродила ежедневно по его следам), становится Пушкин. Пушкин ведь для пишущего или читающего русского — это не просто «солнце русской поэзии», он еще и мерило вкуса и темперамента, он камертон, он исповедник, он соучастник, он вечный спутник на прогулках (для пишущего он еще и спасение в мучительные дни и годы, когда не пишется, — читай Пушкина или про Пушкина, говори, что занят «пушкиноведением», сколько их на Руси, «пушкинистов»...).

Смуглый отрок бродил по аллеям,  
У озерных грустил берегов,  
И столетие мы лелеем  
Еле слышный шелест шагов.

Это из ранних ее стихов — она рано научилась передавать эти шорохи, шелесты и плески царскосельского парка, где в холодную воду глядятся беломраморные статуи, пророчашие и славу и смерть («Холодный, белый, подожди,/ Я тоже мраморною стану»), где так неизбежно присутствие смуглого отрока, а на скамейке — то здесь, то там — его забытая треуголка и растрепанный том Парни (сама-то она читала уже Верлена, тоже по-французски), где даже на ветвях висят лиры. Здесь нельзя не писать, и она, конечно же, пишет стихи, эта высокая, тоненькая, очень странная девочка, без конца пишет, и уже, конечно, мечтает о славе. Однажды летом, когда они жили на даче под Одессой, в Люстдорфе, мать, проездом, показала ей крошечную дачку, где она, Анна, увидела свет, и девочка сразу сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска». Мать огорчилась — такая гордыня, такой моветон. Вспоминая об этом полвека спустя, седая и грузная поэтесса, будто снова устыдившись моветона, приписала: «Это была просто глупая шутка». Да, конечно, но только не всякому подростку такое сразу придет в голову, хотя кто ж из российских



подростков не пишет стихи? До славы тогда уже, впрочем, оставалось совсем немного (каких-нибудь лет семь), а до первой публикации и того меньше...

В Царском Селе они жили на углу Широкой улицы и Безымянного переулка, рядом с железнодорожной станцией, в таинственном доме, где, по преданию, был когда-то заезжий двор или трактир («Я обрывала в моей желтой комнате обои (слой за слоем), и самый последний был диковинный — ярко-красный. Вот эти обои были в том трактире сто лет назад, — думала я»).

Комнатка у нее была аскетическая, неуютная, «суровая» и вдобавок (как вы поняли) с рваными обоями. Через полвека Ахматова остро помнила запахи Павловского вокзала, запахи детства — «дым от допотопного паровозика... натертый паркет... земляника в вокзальном магазине... резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске... сигары и жирная пища из ресторана...». Аннушка ходила в Царскосельскую гимназию (через сорок лет «в Ташкенте... в тифозном бреду все время слушала, как стучат мои каблуки по царскосельскому Гостиному двору — это я иду в гимназию»). Училась она сперва очень средне, потом получше, но всегда без особого интереса — интересы уже были свои: необъяснимая магия стиха, рифмы, смутные,

тревожащие образы и, конечно, эта на долгие годы теперь неизбывная, напряженная или, как говорят, «сложная жизнь сердца» — романы, любви, любовное томление — одним этого в жизни выпадает немного, другим в избытке, и разве это не важнее гимназии? Ее век и ее среда эти волшебные отношения между мужчиной и женщиной (прочие сочетания, кажется, в ее жизни большой роли не сыграли) ставили превыше всего на свете, а она (кто ж усомнится в этом при взгляде на ее портреты?) — она просто рождена была для любви. Кроме великой тайны любви, были и другие тайны, к которым она приобшлась или надеялась приобшиться: даром, что ли, молодой муж назвал ее чуть позднее в знаменитых стихах колдуньей? Она и сама не раз говорила и писала, что она ясновидящая, читает мысли, видит чужие сны. «Чует воду», что она недаром родилась 23 июня, в древнюю Иванову ночь (все это колдовство было тоже очень в духе времени). Позднее в стихах она называла себя и русалкой, и китежанкой, и сомнамбулой, а полнолуние волновало ее еще в детстве. Царскосельская ее подруга Валерия Срезневская (в ту далекую пору еще Валечка Тюльпанова) вспоминала, как однажды в лунную ночь она увидела тоненькую девочку в белом платье на крыше зеленого углового дома («Какой ужас! Она лунатик!»).

Валя вспоминала, как плавала и ныряла эта юная русалка: «...тонкая и гибкая, как ивовый прутик, — с очень белой кожей — она (особенно в воде Царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море... Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные неподвижные воды Царскосельских прудов».

Итак, маленькая колдунья и русалка бродит по Царскому Селу, «пленительному городу загадок», где «зеленое, сырое великолепие парков... ипподром, где скакали маленькие пестрые лошадки», где старый вокзал, похоронные процессии невероятной пышности, в которых за гробом идут гвардейские офицеры, «всегда чем-то напоминающие брата Вронского, то есть “с пьяными открытыми лицами”...» (здесь уже, как видите, и Толстой присутствует, и ироническое отношение к красавцам гвардейцам), где великан кирасир на розвальнях...

Фонари на предметы  
Лили матовый свет,  
И придворной кареты  
Промелькнул силуэт...

Царское Село — это был особый мир. «Тут ходили по струнке», — вспоминала она. Даже петербуржцы отмечали особую выправку и стать обитателей Царского. К. И. Чуковский разглядел их позднее в

юной Ахматовой: «Порою, особенно в гостях, среди чужих, она держала себя с нарочитой чопорностью, как светская дама высокого тона, и тогда в ней чувствовался тот изысканный лоск, по которому мы, коренные петербургские жители, безошибочно узнавали людей, воспитанных Царским Селом...»

Стихи занимали ее все больше. «Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, — вспоминает она, — я была поражена и читала ее, забыв все на свете». Кто ей показал корректуру, она не пишет, но догадаться нетрудно. Ее поклонник, соученик по Царскосельской гимназии и сосед Николай Гумилев. Он учился у Анненского и сам тоже с самых ранних лет писал стихи. Иннокентий Анненский, замечательный поэт, по словам Гумилева, один «из последних царскосельских лебедей», этому странному гимназисту-переростку покровительствовал. В 1903 году семья Гумилевых (обедневшая дворянская семья, отец — отставной корабельный врач) после нескольких лет, проведенных в Тифлисе, вернулась в Царское Село, и семнадцатилетний Гумилев снова поступил в Николаевскую Царскосельскую гимназию, директором которой был Иннокентий Анненский. Тогда-то влюбчивый юноша и увидел эту необычную девочку... Он подкарауливал ее в переулках, терпе-

ливо сносил все насмешки, когда она шла с подругой, нарочно с ней разговаривая на немецком, которого он не знал. Но иногда ему удавалось одному проводить ее до дому от гимназии («В ремешках пенал и книги были...»), и они говорили о стихах. Он был влюблен, конечно, но было еще и другое. Она была равнодушна к нему, а значит, он должен был преодолеть ее равнодушие и добиться своего, добиться поставленной цели. Он всегда добивался цели, и если на сей раз он был не прав, кто упрекнет его — он был так жестоко наказан... Несколько нескладно, но вполне убедительно излагает эту историю школьная подруга Анны... «Настойчивость Коли в отношении завоевания близости Ани была, по-моему, одной из излюбленных мужских черт Гумилева. Он как-то во всем... в стремлении к «Леванту», к войне, к солдатской карьере — все это черты его отчасти воображаемого, отчасти врожденного его «я»».

В гимназии Гумилев успевал не блестяще, но это вряд ли его беспокоило. С восьми лет он писал стихи и всегда считал это самым важным занятием в жизни. Еще за год до окончания гимназии, девятнадцати лет от роду (это было в 1905-м), он издал свой первый сборник стихов — «Путь конквистадоров». Книга была замечена: сам знаменитый вождь символистов Вале-

рий Брюсов, отметив в рецензии, что книга полна «перепевов и подражаний» (в том числе и подражаний самому Брюсову), выразил надежду, что победы и завоевания «нового конквистадора» — впереди. Девятнадцатилетний конквистадор ринулся в бой — сделал предложение юной Анечке Горенко и получил первый отказ... Не слишком трудно предположить, что между «конквистадорством» юного Гумилева и ее заранее ожидаемым отказом существует довольно тесная связь. Что ж, пусть он нехорош собой, пусть он не успевает по всем предметам сразу, пусть он не нравится ей... он станет великим поэтом, он покорит мир (в те годы поэт был богом — вон рыжекудрый бог Бальмонт, боги Брюсов и Блок, даже Северянин и тот бог...). Более того, Николай будет воином, путешественником, покорителем земель, бесстрашным и безжалостным конквистадором — он, этот шепелявый бесцветный второгодник Коля Гумилев, он всем докажет... Докажет, что он не такой, как все, что он выше других, он над людьми, ибо он поэт, он из тех, о ком говорит Заратустра... Самое замечательное, что он всего и добился позднее, почти всего — стал поэтом, стал путешественником, стал певцом мужества, воевал, был на войне героем, он женился все-таки на Аннушке Горенко, он стал покорителем множества девичьих сер-

дец, он даже погиб геройски — от рук самых страшных палачей нашего века... Все как будто сбылось, судьба словно бы отступила перед напором его воли. И все же произошло это не так, как ожидалось, — и стихи оказались не совсем те, и любовь, и женитьба... Его поражения начались с нее, а может, и кончились тоже ею, ее холодностью, ее безразличием... Впрочем, это все случилось потом, а пока, напомним, на дворе еще 1905, тревожный 1905 год...

Не только для смятенной России он был тревожным (поражение в войне, революция), но и для странной, безалаберной семьи Горенко это был тяжкий год. Сперва Андрей Горенко потерял работу у князя, потом он ушел из семьи. Мать с детьми уехала в Крым, в Евпаторию, где Анна на дому проходила гимназический курс, грезилась о любви, «тосковала по Царскому и писала великое множество беспомощных стихов». Стихи, вероятно, тоже были о любви, как и положено в эту «пору любви и грусти нежной». Иногда, в период неудач и разочарований, она вдруг решала, что не будет раздумывать, а просто выйдет замуж, как все, выйдет за хорошего человека (вон и Гумилев сватается) и «будет век ему верна». Ведь жизнь-то проходит — вот уже шестнадцать, семнадцать... В семнадцать она, вероятно, отправила и Гумилеву (а не

только другу С. фон Штейну) это многообещающее послание:

Я умею любить.  
Умею покорной и нежною быть...

Она была искренней. Только что она знала о себе в семнадцать? Переписка ее с Гумилевым возобновилась...

В 1907-м она уехала в Киев и там закончила последний класс Фундуклеевской гимназии. Потом поступила там же на юридический факультет Высших женских курсов. «Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, — вспоминает она, — я была довольна; когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела». Да и чем могут привлечь тайны судебного крючкотворства, когда тебе семнадцать, когда жизнь томительно-прекрасна, мучительна и полна собственных тайн, из тех, что напрасно так снисходительно называют «девичьими»?

Остались воспоминания киевской приятельницы В. А. Беер о том, как она случайно увидела Аню той самой весной 1907 года в храме Святой Софии:

«Налево, в темном приделе, вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно, тонкая, стройная, напряженная. Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она ниче-



го не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит... Я выхожу из церкви. Горенко остается и сливается со старинным храмом... Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну, о которой говорить не стоит».

О чем «говорить не стоит»? О чем молилась тоненькая глазастая Аннушка? О чем просила Господа? Или, может, она замаливала грех — такое с ней и позже случилось, но какой грех сейчас, в восемнадцать?.. Известно, впрочем, что она была именно в ту пору влюблена в одного человека (в письмах она называет его то В., то В. Г. — Кутузов), а он то ли уже был женат, то ли как раз намеревался жениться, но на другой. Чем лечатся от такого горя, известно: я вот тоже — возьму и выйду замуж за другого, Ему назло, и счастливой буду Ему назло. На всем протяжении несчастной своей любви Аннушка переписывалась с мужем сестры С.В. Штейном, который был знаком и часто виделся с «тем человеком»: таким образом ей удавалось хоть что-нибудь узнать о Нем, да и свои чувства излить тому, кто Его знает (может, что-нибудь даже Ему передадут). В феврале 1907 года Аннушка написала С. Штейну: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба — быть его женой. Люблю ли я его, я

не знаю, но кажется мне, что люблю...» И дальше чужие, похоже, что брюсовские, безжалостные и, увы, пророческие стихи:

«...всем судило Неизбежное,  
Как высший долг — быть палачом».

Бедный Гумилев! Еще неизвестно, любим ли он, но в жертвы он уже намечен. И похоже, самое важное в предстоящем замужестве — что скажет «тот человек», когда узнает. Ибо думает-то она по-прежнему о «том человеке». Вот еще отрывок из ее тогдашнего письма к С. Штейну, все о том же: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделенной любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилев — моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной» (как точно отметил впоследствии по поводу этого письма петербургский литературовед, такие клятвы легче произносятся, чем исполняются). Впрочем, о том, что она за него «выходит», пока, может быть, не знает еще и сам Гумилев...

В том же письме она благодарит Штейна за присланную им по ее настоятельной просьбе фотографию «того человека» (Владимира Викторовича Голенищева-Кутузова), рассказывает, как она глядит без кон-

ца на эту долгожданную фотографию. Но и приезда Гумилева она ждет с нетерпением... «Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне — я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение... Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с Nicolas. Уважать отца я не могу, никогда его не любила, с какой же стати буду его слушаться...»

Однако Гумилев приезжает в 1908-м, сватается к ней и снова получает отказ. Ах, сердце девичье... Ей ведь всего 19 лет. И на расстоянии Николай ей, вероятно, милей, чем вблизи (так, кстати, бывало и позже).

А Гумилев на распутье. Гимназию он с грехом пополам окончил, но чем заняться дальше (вернее, чем, кроме стихов), он не знает. В конце концов он решает уехать за границу, в Париж (существовал в ту пору такой выход из всех ситуаций) — слушать лекции в Сорбонне. Часто ли он бывал на лекциях в Сорбонне, сказать не берусь (и Г. Струве и С. Маковский отмечают, что французский он так толком и не выучил, по-русски писал с ошибками, прочих же языков он не знал вовсе), но в Париже и помимо Сорбонны было куда пойти. Русская речь звучала тогда в самых модных

кафе, русские художники уже наводняли «Ротонду», и вообще русских было великое множество (жила в Париже и пореволюционная — еще после первой революции — вполне благополучная, не бедствующая эмиграция, были здесь Бальмонт и Волошин, журчала русская речь и в салоне Кругликовой). Гумилев был неистовым поклонником французской поэзии, «парнасцев», и в первую очередь — Теофиля Готье. Он вдруг начинает издавать в Париже на свои деньги журнал «Сириус», в котором под разнообразными псевдонимами печатает собственные стихи и даже стихи Анны Андреевны Горенко. Узнав об этом, Анна пишет С. Штейну: «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну! Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа. Бывает!» Очень юное и кокетливое письмо. Отчего ж не посмеяться беззлобно над влюбленным вздыхателем, на которого нашло затмение? А все же это приводит ее в «необычайно веселое настроение», да и первая публикация (где-то еще там, в Париже вдобавок) не может пишушую барышню вовсе уж не затронуть. Она без конца иронизирует по поводу своих тогдашних стихов, но однаж-

ды доверительно пишет Штейну, что ведь мы-то с вами, Сережа, настоящие поэты... И это, конечно, искреннее ее убеждение... А отверженный конквистадор Гумилев тем временем, отложив денег из того, что ему высылал отец, тайком отправляется в первое свое африканское путешествие. Это пока известно не всем, но он-то про себя знает, что он путешественник, он покоритель Леванта, воин, бесстрашный романтик, нищепанец, искатель разнообразных приключений, в том числе и любовных. Пока это маска, и, вероятно, за всем этим (пусть даже и не всегда осознанно) стоит главная любовная неудача его жизни, но маска (а маски, как и недостижимый пьедестал Поэта-сверхчеловека, были в то время в большой моде) все прочней прирастает к лицу, становится то ли второй, то ли уже первой его натурой. В 1908 году (еще находясь в Париже) он печатает свою вторую книгу стихов — «Романтические цветы». В этой книге (как и первая, очень подражательной) наряду с конквистадорами, рыцарями и Люциферами были уже настоящие африканские львы и даже был по-брюсовски изысканный жираф, принесший ему известность.

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,  
И руки особенно тонки, колени обняв.  
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад  
Изысканный бродит жираф.

Жирафов, как и все свои новые экзотические находки (не Бог весть как новы они, было это все уже и у Брюсова, и у Бальмонта), он складывает, как видите, у ее ног. У ее коленей, обхваченных ее удивительными тонкими руками...

Критика трезво писала по поводу новой книги, что стихи у него пока еще ученические (все тот же Брюсов), но что учится Гумилев упорно, что толк будет. Он был из тех, кто проходил в поэзии долгий курс ученичества (который, как считают иные из критиков, ему так и не суждено было завершить).

В Петербург он возвращается, что ни говори, достаточно известным молодым поэтом. Выпускает на родине еще одну, третью книгу стихов, «Жемчуга», снова очень подражательную и очень благозвучную, мастеровитую. В ней уже были знаменитые «Капитаны», из которых потом полвека черпали вдохновение советские поэты-романтики<sup>1</sup>.

По возвращении в Россию Гумилев снова общается с Анненским, знакомится с редактором «Аполлона» Маковским и вскоре

<sup>1</sup> Помню, я искал как-то в шестидесятые годы экземпляр «Жемчугов» в Ленинской библиотеке, чтоб вставить «Капитанов» в свою детскую книжку, — нашелся один-единственный, зачитанный до дыр, в Отделе редких книг

становится, по выражению Г. Струве, «присяжным критиком» этого престижного журнала, критиком на удивление серьезным. (Вячеслав Иванов, по сообщению Маковского, упрекал его за то, что он доверил молодому Гумилеву критический отдел журнала. «Ведь он глуп, да и плохо образован, даже университета окончить не мог, языков не знает, плохо начитан...» — так, если верить Маковскому, говорил Вяч. Иванов.)

У Гумилева в это время, как пишут мемуаристы, «богатая жизнь сердца», проще говоря, множество любовных увлечений. Он делает предложение то одной барышне, то другой, однако Аннушка Горенко — это для него нечто недостижимое, особое, очень серьезное (к тому же победа над ней — это трудная и достойная цель для победителя-конквистадора). Вероятно, и он, все такой же верный ее поклонник, известный столичный поэт, критик модного журнала, для нее теперь уже не только предмет насмешек. Ее «серый лебеденок» становится «лебедем надменным», и в этой ипостаси он, кажется, внушает ей больший интерес, чем раньше.

Весной 1910-го умирает отец Гумилева. Может, это и подтолкнуло «вечного мальчика» Николая Гумилева искать спасенья от горя и одиночества у главной своей любви — у Аннушки. Легко понять, что он

обратился за утешением не по адресу, но он был молод, он был влюблен, да и многие ли из нас, благородный читатель, могут сказать, что сделали в жизни более мудрый выбор? Просто одним это сошло с рук, другим пришлось дорого платить за свои ошибки...

Гумилев снова просит Аниной руки и на сей раз получает согласие. Что изменилось для нее за эти годы? Он стал для нее достаточно интересным? Ей надоело затянувшееся аж за второй десяток лет девичество? Она сумела полюбить его или хотя бы сумела убедить себя, что любит? Или просто, не зная толком ни себя, ни его, решила, что стерпится — слюбится? Что и без великой любви она сможет быть ему хорошей женой? Кто даст нам ответ на все эти такие столь интимные (однако весьма для нашей истории небезразличные) вопросы? Отношения их никогда не были простыми. Есть мемуаристы (вроде С. Маковского), которые, ничтоже сумняшеся, пишут о ее влюбленности в него, а также о его небрежности и непостоянстве, ставших якобы причиной семейной драмы. Думается, романтический женолюб (герой и жертва волошинского розыгрыша с участием «Черубины де Габриак», пережившей до того, кстати, роман с Гумилевым) и небрежный мемуарист Маковский не слишком глубоко вникал в интимную подоплеку



драмы. У всех, кто не только виделся время от времени, но и дружил с Анной, со-  
здалось совсем иное впечатление. Вот сно-  
ва отрывок из воспоминаний подруги ее  
детства В. Срезневской:

«Я помню, раз мы шли по набережной  
Невы с Колей и мирно беседовали о чув-  
ствах женщин и мужчин, и он сказал: «Я знаю  
только одно, что настоящий мужчина — по-  
лигамист, а настоящая женщина моногамич-  
на». — «А вы такую женщину знаете?» —  
спросила я. «Пожалуй, нет. Но думаю, что  
она есть», — смеясь ответил он. Я вспо-  
мнила Ахматову, но, зная, что ему будет  
это больно, промолчала.

У Ахматовой большая и сложная жизнь  
сердца, — я-то это знаю, как, вероятно,  
никто. Но Николай Степанович, отец ее  
единственного ребенка, занимает в жизни  
ее сердца скромное место...

Как видите, свидетельство это мало по-  
хоже на самоуверенные выводы Маковско-  
го.

25 апреля 1910 года у них была свадь-  
ба в Киеве. На венчание в церковь Ни-  
кольской слободки, что над Днепром, ник-  
то из членов ее семьи не пришел — Го-  
ренки считали ее замужество ошибкой.  
Можно догадаться, что уже и медовый ме-  
сяц должен был принести ей шок разоча-  
рования, а ему — первую настоящую боль.  
Кабы мудрости обоим, и терпения, и

убежденья, что иначе нельзя... Впрочем, ведь слова «нельзя» не знали они оба. Оба были настоящие поэты (пусть даже авансом, еще и не написав настоящих стихов), оба были гордецы, своевольники. Сошлюсь на свидетельство той же Срезневской: «Конечно, оба они были слишком свободными и большими людьми для пары воркующих «сизых голубков». ...Их отношения скорее были тайным единоборством — с ее стороны для самоутверждения как свободной женщины, с его стороны — желанием не поддаться никаким колдовским чарам и остаться самим собой, независимым и властным... увы, без власти над этой вечно ускользающей от него многообразной и не подчиняющейся никому женщиной».

Впрочем, мы с вами у начала их брака, и оба еще надеются, что «образуется»... А пока — свадебное путешествие, долгожданный (ему-то уже знакомый) Париж. Куда ж еще ехать русским молодоженам, как не в Париж? А в Париже Аню Горенко (впрочем, она теперь горделиво подписывает письма «Анна Гумилева») ждет первая встреча с Ним. Она Его не знает, но ведь и мы с вами Его еще не встречали. Итак, Он...

## Он — до встречи с ней

Он тоже родился на берегу моря. Только не Черного, а Средиземного — в Тоскане, в городе Ливорно, 12 июля 1884 года. Жизнь его окутана самыми невероятными легендами, и сам он (подобно Ахматовой), мифотворец и выдумщик, легенды эти не рассеивал, не опровергал, а, скорее, напротив — расцветивал и распространял. Говорили, что этот нищий творец с Монпарнаса был сыном банкира, что он потомок Спинозы (этот слух ему, поклоннику философии, очень нравился). На деле все было несколько иначе, хотя, может, тоже вполне экзотично. Отец его Фламинио Модильяни торговал лесом и углем и вел какие-то непонятные дела в Сардинии, где и пропадал большую часть года. Проторговавшись, он открыл посредническую контору (тоже ведь, если и не банк, то «банко», окошко, прилавок), но и тут не преуспел. Бытовала, впрочем, в семье легенда и о настоящем «папском банкире» — Эммануэле Модильяни. На самом деле прославленный этот Эммануэле просто получил однажды (в середине прошлого века)

заказ на поставку меди для монетного двора Ватикана, а заработав на этом кое-что, возомнил о себе и купил виноградник, но вынужден был продать его через двадцать четыре часа, ибо, как выяснилось, сделка с Ватиканом еще не давала ему, еврею, права, в нарушение папских указов, владеть землей. Ко времени рождения нашего героя, четвертого ребенка в семье Эжени и Фламинио Модильяни, родители его успели сильно обеднеть (если не обнищать). Что же до Спинозы, то материнская семья (семья Гарсен из Марселя) и правда состояла в родстве со Спинозами, но сам мудрец из Амстердама, как известно, был бездетным. Однако претензии на это родство существенны для нашей истории: и Спинозу, и Уриэля Акосту, и Вольтера, и прочих вольнодумцев почитали в марсельской семье матери нашего героя Эжени Гарсен, которую семнадцать лет от роду угораздило выйти замуж за Фламинио Модильяни, следствием чего, впрочем, и было упомянутое нами выше рождение Амедео Модильяни (по-семейному Дэдэ). Можно отметить, что в материнской семье, у марсельских Гарсенов, атмосфера была и более нежной, и куда более интеллигентной, чем в семье грубых Модильяни, а тетка Лора Гарсен имела обыкновение читать своим племянникам вслух воспоминания Петра Кропоткина. На счастье, на маленького Дэдэ это

чтение произвело меньший эффект, чем на его брата, который стал известным социалистическим лидером. Марсельские Гарсени, как и тосканские Модильяни, были евреи, точнее говоря, сефарды, выходцы из Испании, рассеявшиеся после изгнания по всему Средиземноморью и унесшие с собой свою религию, свою иудео-испанскую культуру, свой язык ладино и свой страх перед новым изгнанием. Это последнее было, возможно, единственным, что оставалось в не слишком верующих семьях Гарсен и Модильяни от еврейства, но в Италии, надо признать, евреев не загоняли в ту пору ни в гетто, ни в черту оседлости, да и антисемитизма, подобного тому, что лютовал в конце прошлого века во Франции, в Италии не было.

Амедео рос болезненным мальчиком, но кое-как дотянул до окончания лица в Ливорно, после чего мать отдала его учиться живописи к художнику Микели. В семнадцать Дэдо заболел туберкулезом, лечился, совершил поездку по Италии, побывал в Риме, в Неаполе, на Капри. Во Флоренции он целыми днями пропадал в музеях, поступил там же в Школу изяшных искусств. Он писал тогда стихи и был близок там к группе молодых итальянских писателей, которых называли позднее «потерянным поколением» (большинство из них рано и трагически завершило жизнь), даже к

самому Джованни Папини. Амедео знал наизусть сотни строк Данте и Леопарди, а одним из кумиров его был Габриэле Д'Аннунцио, чей гимн сверхчеловеку, навеянный Ницше, Эмерсоном, Уитменом, Ибсеном, пришелся по душе юному итальянскому интеллектуалу, мечтавшему о славе и горячо откликавшемуся на слова Д'Аннунцио о праве художника на чрезмерность в трудах и в жизни, на индивидуализм и вызов буржуазному вкусу, ибо, как говорил Д'Аннунцио, «дионисическая чувствительность художника, его нервность и его многосторонность — его увлечения и быстрые разочарования — неумные аппетиты, возбуждение и смерть, его театральность и его тщеславие — все это скорее следы сильной женственности, чем декадентства». Иные из искусствоведов считают, что в этом пассаже из Д'Аннунцио — моральный портрет Модильяни, который уже в ранней юности верил, что станет настоящим художником, но знал и тогда, что путь будет нелегким. После Флоренции он еще несколько лет учился в венецианской академии изящных искусств, занимался и живописью и скульптурой, там приучился и к вину и к гашишу. Он все чаще подумывал о том, что пора уезжать в Париж — художникам начала века все, кроме Парижа, казалось провинцией. В 1900 году осуществил свою мечту о Париже девятнадцати-

летний Пикассо, в 1904-м — Бранкузи, в 1905-м — Паскин, в 1906-м — Кандинский, тогда же появился на Монмартре и молодой Модильяни. Ему было 22 года, и ему предстояло найти себя как художника. Это был мучительный процесс. Странно, что так много людей знало его в Париже, так много рассказов осталось о нем, ставшем позднее символом пропащей монпарнасской богемы, так много разнообразных легенд, баек, анекдотов и так мало оставили нам его описаний, даже те, кто часами сидели напротив него, позируя для знаменитых модильяниевских портретов, обесмертивших его модели. Чаше других описывали его русские друзья из общаги «Улей». Этим выходцев из белорусских и украинских местечек, из глухих углов Австро-Венгерской монархии, из Минска, Вильны, Витебска и Варшавы молодой тосканец поражал, пугал и завораживал широтой латинской культуры, томиком Данте или Бодлера, неизменно оттопыривавшим карман, дорогим красным шарфом на шее, бархатными куртками, неизменной и безудержной щедростью (впрочем, ведь и швейцарец Сандрар утверждал до самой старости, что шикарный красавец Модильяни был богат), приступами внезапной ярости. Нет, не гением художника он их всех изумлял тогда, не талантом — в той среде все были великие таланты, если не гении,

пока что не признанные, конечно, но спешившие (и не всегда успевавшие) быть признанными при жизни. Поражал блеском эрудиции, широтой натуры, размахом, а также неудержимым самоистреблением, обреченностью, словно бы отмеченностью печатью рока...

Вот один из немногих его словесных портретов (принадлежащий перу скульптора, Осипа Цадкина): «Его черные волосы цвета воронова крыла окружали его сильный лоб: подбородок у него был гладко выбрит, синие тени лежали на алебастрово-белом лице». Другие вспоминают его золотистые глаза, его неотразимость, шарм, его вечное желание соблазнять, утверждая себя. Третьи — его любовь к философии. Все вспоминают его страсть к поэзии: он мог часами, жестикулируя и утрируя свой итальянский акцент, читать наизусть Данте, грустного Леопарди, Д'Аннунцио, Рембо, Верлена, Бодлера... Вспоминают, что из живописцев он любил Сезанна и Паоло Учелло, знал не только Тинторетто, Джорджоне, Тициана, Йорданса, Рубенса, но и Никколо дель Аббате, и Приматиче, и Энгра. Иным он запомнился совсем молоденьким, на Монмартре, не пропускавшим ни одной хорошенькой девочки... Пишут, что у него было, наверно, богатырское здоровье, если он мог при залеченной чахотке так долго вести этот богемный образ жизни. На-



тыкаясь позднее на подобные фразы мемуаристов, дочь его Жанна напоминала, что в Париж он приехал все же не наивным и здоровым юношей-провинциалом, что он прошел еще в Италии курс учебы, что здоровье его было подорвано туберкулезом, да и нервы у него были не слишком крепкие (многие вспоминают о его «неожиданных переходах от застенчивой сдержанности к припадкам безудержной ярости»). Зато решимость его во что бы то ни стало открыть свое, новое, сказать свое слово в искусстве, стать настоящим художником, — решимость эта была неколебимой. За достижение этой цели он готов был платить любую цену, не щадя ни трудов, ни здоровья, ни даже вчерашних своих достижений и опытов, если сегодня с утра они показались ему ложными, слабыми, недостойными тех вершин, которые он себе определил. При этом молодой тосканец, в отличие от многих своих итальянских собратьев и друзей (вроде Джино Северини, предложившего ему подписать их очередной ниспровергательный манифест) или их российских шумных подражателей, не собирался «жесть Лувр» и Галерею Уффици, не собирался ничего «сбрасывать с корабля современности». Напротив, он обожал старых, особенно архаичных, мастеров, он (как вспоминает один из самых первых поклонников его живописи, доктор Поль

Александр) рьяно посещал выставки особенно почитаемых Сезанна и Матисса. В предрассветных парижских сумерках очередная его поклонница, влюбленная манекенщица или просто вчерашняя собутыльница могла разглядеть на стене над его кроватью репродукцию с картины Энгра или с фрески Микеланджело. Он был странный новатор-консерватор, новатор «ретро». Конечно, в Париже у него появлялись время от времени новые, модные увлечения — и кубизм, которому он отдал недолгую дань, и так называемое «примитивное искусство» — скульптура Африки, «негритянское» искусство, и скульптура Океании, и средневековое искусство, искусство Египта, Индии. Многие считают, что к негритянскому искусству его приобщил его новый приятель-скульптор, талантливый румын Константин Бранкузи. Доктор Александр вспоминает, что это он привел Модильяни в музей на Трокадеро. Так или иначе, увлечение это носилось в воздухе, весь Монпарнас болен был тогда «примитивами», а моду ведь начинал уже задавать Монпарнас: Монмартрский холм «пустел», художники один за другим перебирались на левый берег — на улицу Кампась-Премьер, в квартал Вожирар... Перебрался туда и Модильяни. Его сосед по новой студии вспоминает о Модильяни, что «его преклонение перед черной расой продолжало

расти, он раздобыл адреса каких-то отставных африканских царей и писал им письма, исполненные восхищения гением черной расы... Он расстроен был тем, что ни разу не получил от них ответа...».

Может, это увлечение и было одним из импульсов, обративших его к скульптуре. Конечно, он не оставлял и живопись. Поиски его в области живописи были все такими же напряженными и неистовыми, и существует немало рассказов о том, как он, на глазах у посетителей «Ротонды», рвал листы с прелестными портретами, ибо видел (он один видел), что это опять не то, чего он добивается... Портреты... Портреты... Портреты... Это всегда были портреты, ибо его интересовал только человек, углубление в человека, в его единственную натуру, единственное, что служило ему натурой. На портретах его не было ничего, кроме человека, оставшегося один на один с художником. Ни интерьеров, ни аксессуаров (разве что легкий намек на декорацию, вроде дощечки в шекспировском театре с надписью «лес») — хотя он мог оценить эти детали у любимого им Боннара или Вермеера Делфтского. Его интересовала душа человека, душа в оболочке тела. По воспоминаньям Л. Сюрважа, он не раз говорил: «Меня интересует человеческое существо. Лицо есть высочайшее создание природы. Я обращаюсь к нему неустан-

но...» Редко кто упоминает его портреты, созданные до 1908 года. Но доктор Александр помнил, что осенью 1907-го уже была написана его знаменитая «Еврейка», которую сам Модильяни высоко ценил. Отмечают, что первые портреты выдавали его увлечение то Тулуз-Лотреком, то Пикассо, то Сезанном, чаще всего Сезанном.

После трех-четырёх лет на Монмартре Модильяни перебирается на левый берег Сены, поближе к Монпарнасу, «Ротонде», новым друзьям. На скудное вспомоществование, выкраиваемое матерью из семейного бюджета и присылаемое регулярно (и пускаемое по ветру бесшабашным тосканцем в первые же дни после получения), снять жилье и студию в Париже было не так легко. Оттого ему теперь часто приходится (скорее всего, по причине неуплаты долга домохозяину) менять места обитания. Дочка его насчитала полдюжины адресов, по которым он жил в эти годы. Среди этих адресов и знаменитый дом-ковчег художников «Бато-Лавуар» на склоне Монмартра, и «Улей» на юго-западной окраине Парижа. Сестра его матери, марсельская тетушка Лора Гарсен, разыскавшая однажды племянника по одному из новых его адресов, вспоминала: «Жилье у него было ужасное — на первом этаже в одной из дюжины клетушек, окружавших так называемый Улей».

«Так называемый Улей» заслуживает того, чтоб о нем рассказать чуть подробнее. В конце века, если верить мемуарным легендам, разбогатевший за счет престижных заказных работ (он ваял, в частности, бюсты прославленной румынской королевы-писательницы) скульптор Альфред Буше прогуливался однажды с приятелем на юго-западной, вовсе еще не обжитой окраине французской столицы и, увидев одинокий кабачок, ощутил непреодолимую жажду (никогда, надо сказать, надолго не покидающую француза). Он вышел из коляски на пустынной улице, которая называлась отчего-то Данцигской, но вела (по причине удаленности северного Данцига) в никуда. На улице, изрытой канавами и заросшей бурьяном, паслись коровы и козы.

— Ого, настоящая деревня здесь у вас, — сказал скульптор, устраиваясь за стойкой. — И земля у вас тут небось недорогая...

— Земля... — усмехнулся кабатчик. — Кому она нужна? Отдаю свою по 20 сантимов за квадратный метр, только берите...

Тороватый скульптор вытащил бумажник, и сделка состоялась. Что ему делать с этой землей, Буше пока не думал. Еще лет через пять он увидел, как после закрытия парижской Всемирной выставки 1900 года начали ломать все эти элегантные павильоны, и душа его взбунтовалась. Буше по-

просил своего энергичного племянника купить для него по дешевке забавную ротонду Винного павильона, железные ворота Женского павильона, и еще, и еще. Все это племянник перевез на пустырь близ Данцигской, и в голове у добродушного скульптора окончательно оформилась благородная филантропическая идея (какие приходили в том веке в голову не только русским, но и французам): он разделит «винную» ротонду на маленькие студии, окружит ее другими бараками с множеством крошечных жилых комнат и будет их сдавать за ничтожную, символическую плату собратям — скульпторам, художникам, артистам, которые со всего света устремились в ту пору в новую художественную Мекку — Париж и маются в нем без пристанища. Так в 1902 году родился «Улей», вписавший удивительную страницу в историю так называемой Парижской школы живописи, да и в историю искусства вообще. Как сказал позднее один из тогдашних обитателей «Улья» (Марк Шагал), здесь или помирали с голоду, или становились знаменитыми. Понятно, что имена последних лучше запомнились миру, чем имена первых. Среди тех, кто остались в памяти, — и сам Шагал, и Леже, и Модильяни, и Сутин, и Кремень, и Липшиц, и Кикоин, и Орлова, и Архипенко, и Альтман, и Цадкин, и Кислинг, и ставший впоследствии знаменитым

актером Ален Кюни, а также несколько поэтов и художественных критиков. Тогда, в предвоенные годы, еще неясно было, впрочем, кто из них гений, а кто нет: все они притязали на гениальность, все голодали, бедствовали, искали свой собственный путь к славе, к истине, к художественному открытию. В узких комнатках, получивших заслуженное прозвище «гробы», не было электричества, а зачастую и никакого отопления, зато водились крысы, клопы и блохи (неудивительно, что марсельская тетка Модильяни пришла в такой ужас от того, что она увидела). Зато здесь царила атмосфера иступленного творчества...

Буше не приставал к своим постояльцам со счетами за квартиру, а добросердечная консьержка мадам Сегондэ подкармливала тех, кто казались уж совсем оголодавшими. В бараках и клетушках «Улья» жили надеждой, жили иступленным поиском, и часто среди бела дня, а то и посреди ночи вдруг распахивалась дверь крошечной мастерской и раздавался отчаянный крик «ковбоя» Грановского: «Я гений...». Ночью с бойни доносились крики животных, долетал запах крови. По вечерам брэнчала гитара, звучали испанские или русские песни, а по воспоминаньям Фернана Леже, у живших здесь русских анархистов даже ночью можно было раздобыть стакан водки. Отзвуки этого ночного перезвона

стаканов найдешь и в стихах Блеза Сандра об «Улье»:

Безумные творенья  
Рисунки эскизы  
Картины...  
Пустые бутылки...  
...Казаки Христа и разложенный солнечный свет  
...Бутылки  
Зина  
(О ней мы уже говорили)  
Шагал  
Шагал

Читатель отметил, конечно, явный российский привкус этих французских воспоминаний об «Улье». О, это была удивительная история: наряду с французами, итальянцами, испанцами, венграми в «Улье» в большом числе селились русские пришельцы, среди которых львиную долю составляли евреи с российских окраин, из польских и белорусских местечек, где не только что традиций живописи никаких не было, но и картин-то никто сроду не видел. У «тосканского принца» Модильяни здесь появилось немало друзей, чьи имена то и дело мелькают в его биографии: один, как сообщают, познакомил его с Беатрис, другой представил ему будущего друга и благодетеля Зборовского, третья познакомила его с Жанной (уверен, что и Анне Ахматовой его тоже представили русские друзья).



Всем казалось странным, что интеллектуал и элегантный красавец Модильяни ближе всех сошелся в «Улье» с немытым, косноязычным, малограмотным, расхаживавшим всегда в одной и той же странной и грязной робе Хаимом Сутиным. Одиннадцатый сын в семье нищего портного из польско-белорусско-еврейского местечка Смиловичи, что неподалеку от Минска, Сутин и порусски-то заговорил лишь тринадцати лет от роду, а уж по-французски... Полагают, что рафинированного Модильяни влекло к неумытому, губастому, краснолицему «калмыку» (так называет его в своих мемуарах вряд ли видевший много настоящих калмыков Жак Шапиро) ощущение сутинской природной талантливости, сутинские отчаянные поиски художественной правды и собственного пути. Сутин, как и Модильяни, неистово бился головой о «предел мира завершеного», достучался, как и Модильяни, до успеха, но, увы, как и Модильяни, без особой радости и незадолго до смерти. Слава, это «негреющее солнце мертвых», чаще всего приходит слишком поздно. По обрывкам воспоминаний, собранных нами там и сям (часто в русских свидетельствах, загадочно-недоступных для французских исследователей), могло их сблизить и то, что этот полуграмотный Сутин обожал стихи, чаще всего ему даже и малопонятные (ибо стихов на хорошо знако-

мом ему идише он не знал). Подвыпив, он начинал декламировать нежно им любимого Пушкина, расцветивая чудные строки милого нам арапа всеми красотами местечкового (польско-белорусско-еврейского) акцента: «Еще ты дремлешь, друг прелестный...» Модильяни, трезвый или пьяный, испытывал потребность в слушателе, а стихи он и сам читал погонными метрами, пристроившись у кого-нибудь в тесной клетушке... Далеко ли уже за полночь, его мало беспокоило. Нетрудно представить себе эти чтения в ночном «Улье» с его тоненькими перегородками (в них барабанили разбуженные соседи), с его скученными каморками-«гробами», с ночными запахами недалекой скотобойни и ревом обреченных коров; услышать пьяное, горестное чтение обреченного тосканца, потревожившего своим неурочным вторжением и голодных людей, и сытых клопов, которых там было великое множество. Что он читал, «тосканский Христос» (как звали его иногда манекенщицы в «Ротонде») в дорогом красном шарфе? В стихотворении Эренбурга он читает «страшного Данта». Кому он читал?.. Конечно, он предпочел бы читать замарашке Хаиму, который так благоговейно слушает стихи. Но Хаим уже, наверно, вырубился (ведь пили-то вместе)... Кроме того, у Сутина и комнатки своей чаше всего не было, так что неизвестно даже, у кого-то

он нынче пристроился дрыхнуть, пьяный, кто пустил его из милости. Скорей всего, друг его и земляк Пинхус Кремень, вместе с которым он приехал сюда из Вильны. Кременя послали родители, а нищему Сутину никогда было бы не добраться в обетованную землю художников, кабы не подвернулся меценат-благодетель. Французы и все прочие нерусские обитатели «Улья» не уставали удивляться рассказам об этой сказочной породе — о русско-еврейских меценатах. Вот и этот, адвокат, давший деньги Шагалу (Винавер), услышав рассказ про странного грязнулю Сутина, решил, что еще сотня в месяц его не разорит, а Господу добрые дела угодны... Впрочем, он ведь, скорей всего, и не верил в Господа, знаменитый Винавер, а приход всеобщего Добра надеялся ускорить насильем. Однако, в отличие от какого-нибудь Ульянова-Ленина, Добро и Доброту считал смежными понятиями, а вовсе не антиподами. И вот теперь он искал тут «настоящую» живопись, этот странный клошар Сутин в этом странном Париже на скотобойно-космополитической окраине близ Версальских ворот... Пока он открыл, впрочем, лишь этот (давно уже известный миру) недорогой и гениальный способ отключаться от мучительных, разъедающих душу поисков и сомнений — винцо... Оставалось только, чтоб кто-нибудь угостил. А принц Модиль-

яни, не видящий смысла ни в своих, ни в чужих деньгах, разве он откажет? А если еще накушаться с ним вместе... Позднее озлобленный, разбогатевший и по-прежнему несчастный Сутин жаловался, что это Моды научил его пить вино. Может, так оно и было. Ну а кто научил Моды? Он-то отчего пил, этот искушенный, высокообразованный тосканский сефард? — спросите вы. Прежде чем делать попытку найти ответ на этот всегда непростой вопрос, я хотел попросить у терпеливого читателя трехминутной передышки. Нет, нет, не трех минут молчания — а трех минут, необходимых для того, чтобы совершить небольшую экскурсию в нашу половину века, в мою жизнь, казалось бы уж и вовсе никак не связанную с тогдашним «Ульем» и его обитателями. Разве близко лежат улица Данцига, квартал Вожирар и кафе «Ротонда» или, скажем, фешенебельная Сосновая Аллея, улица особняков у Булонского леса, от Востряковского кладбища на юго-западной окраине Москвы, от шереметевского Фонтанного Дома в Петербурге, от Колымы и Бодайбо, от Магадана, Экибастуза и рва с трупами в нищем белорусском местечке Смиловичи, том самом, где увидела свет милая моя мама (как долго уже маюсь я без тебя, но теперь потерпи, осталось недолго...). Итак, близко ли?.. Близко, совсем близко, не сомневайтесь, ибо тесно

связаны все мы на нашей тесной планете, только не всегда умеем разглядеть эту связь... Так вот, отступление, даже не одно, а два отступления, но обещаю, что оба они будут короткими...

Впервые в дом Жака Липшица, старого приятеля Модильяни, я попал лет пятнадцать тому назад, сразу по приезде в Париж. Я пришел в гости к Андрею Шимкевичу, симпатичному пасынку Липшица, жившему здесь в обществе собаки Мотьки и множества кошек, совместными усилиями которых в этом доме, построенном некогда для признанного парижского скульптора Жака Липшица по проекту его друга Ле Корбюзье, установился неистребимый запах зверинца. Женой Липшица и была мать моего приятеля Андрея, русская поэтесса-эмигрантка. А отец Андрея, русский революционер, тоже эмигрант (существовала ведь и левая русская эмиграция в Париже в 1905 — 1907 годах, но разве ж они понимали, тогдашние эмигранты, что такое тяготы настоящей эмиграции!), был выходцем из знаменитой петербургской семьи Шимкевичей; дядя Андрея (загляните в энциклопедию) — академик, биолог и, если память меня не обманывает, тот самый — «сам Шимкевич», — который матери будущего писателя Набокова, дочери богача Рукавишниковой, давал некогда уроки естествознания. В Париже интеллигентная рус-

ская поэтесса, будущая Андриюшина мать, вышла замуж за Андриюшиного отца, а позднее, расставшись с ним, за скульптора Жака Липшица (ударение, пожалуйста, ставьте на последнем слоге — так тут положено), а когда вдруг грянула у них на родине революция, отец Андрея ринулся назад в Россию — служить революции, отчизне и чему-то там еще, чему он считал своим патриотическим мужским долгом служить. Заметался и пасынок Липшица, пятнадцатилетний Андрюша, напомню, что в этом возрасте мальчику и родной отец редко сумеет угодить, а уж чтобы отчим... Родной же отец был где-то там, в загадочной России, где совершались большие дела, восхищавшие неразумный мир (за морем телушка — полушка, и трава всегда зеленей по ту сторону холма), он там стал большим военным начальником, красным командиром, а может, даже красным командармом, жил в знаменитом «Доме на набережной», где все были такие кровопролитно красные и только уж позже умылись собственной кровью (Никита Михалков в одном из своих фильмов неспроста водворил в этом доме ванну крови). Полный надежд Андрюша Шимкевич уехал к отцу, который, понятно, с утра до вечера горел на важной работе, и нынче, и завтра, и послезавтра все был на работе, так что Андрюша оказался, как и многие его

тогдашние сверстники, на улице, ночевал в теплых асфальтовых котлах, осваивал маленький парижанин беспризорнические быт и нравы той пропащей Москвы. А потом — тюрьма, первый срок, первый побег, еще срок, еще тюрьма, еще срок (отца его в промежутке между Андрюшиними тюрьмами, как можно догадаться, уже расстреляли), а у юноши были все еще лагеря да лагеря, бескрайний Архипелаг Гулаг, целых 28 лет лагерей... Выжил парижский мальчонка — может, оттого и выжил, что рано начал лагерную закалку... Когда его выпустили (в середине 50-х, после смерти «рыжего мясника» и амнистии), мать еще была жива — все силы положила она на то, чтоб вытащить во Францию своего мальчика, закоренелого русского лагерника... Ну а когда мы встретились с Андреем в пропахшем кошками доме Липшица на Сосновой Аллее у края Булонского леса, не было уже в живых ни Жака (в родных Друскениках его, впрочем, назвали Хаим-Яков, но когда это все было, в том веке?), ни Липшица (он умер незадолго до того на Капри, а с 1941-го и вовсе жил в Америке), ни Андрюшиной матери, которую мог бы я расспросить о красивом тосканце Модильяни... Зато всегда можно было спросить у Андрюши, не встречал ли он где на пересылке Льва Николаевича Гумилева, сына Анны Андреевны Ахматовой и Нико-

лая Степаныча Гумилева, а может, также второго мужа Анны Андреевны, или ее третьего мужа, или друга ее Мандельштама — все где-то там маялись. После первой же рюмки Андрей отвечал, что да, конечно, встречал, и того встречал, и этого, и другого, и третьего, потому что не мог же он за 28 лет не встретить всех и каждого, это была его страна, единственная страна, которую он знал хорошо, — Россия Гулага, Страна Гулаг... И что ты все пристаешь к нему с вопросами про виллу Корбюзье, Булонский лес, про Жака... Давай споем лучше...

А ты хохочешь,  
Ты все хохочешь,  
Почти что голая  
В такой мороз...  
Хороводишься с кем захочешь...

О Липшице мы, впрочем, в ту пору старались вообще не говорить, чтоб не портить Андрею настроение, потому что последние лет двадцать американские наследники Липшица старались Андрея, как не самого законного наследника, из дорогой кошачьей виллы выжить, чему и сам Андрей, и гуманная французская юстиция противились, как могли (потом сдались все же, уж больно долго шла тяжба — у старого эка оказались и долгий век, и железное здо-



ровье, так что пришлось ему освобождать виллу отчима еще при жизни)...

Позднее, впрочем, Андрей пересказывал мне кое-какие материнские воспоминания, противоречившие отчасти прочим воспоминаниям (но ведь все рассказы о Модильяни противоречивы).

Он говорил, что ночное это вторжение Модильяни и чтение стихов Вийона произошло у них в квартире на улице Монпарнас, 54, где жило много художников. Являясь туда, Модильяни обычно свистел во дворе, и мать спускалась, чтобы открыть дверь, не то он дом переполошит... Было это в конце войны. Вот тогда Липшиц, желая помочь Модю, и заказал ему семейный портрет — свой и жены, вместе. Модильяни сказал, что будет с них брать по десять франков в час и чтоб была непременно бутылка вина. Но писал Модильяни быстро, кончил за два сеанса, и Липшиц, видя, как мало тот заработал, предложил ему поработать еще. Но Модильяни отказался «портить портрет». Он никогда не дописывал, а писал сразу... Историю эту я знал по мемуарам Липшица, но мне нравилось выслушивать ее в Андрюшином исполнении — всегда вспоминалось при этом, какое там прекрасное лицо у его матушки, молодой русской поэтессы, на этом портрете Модильяни... В замечательную историю о ночном визите Модильяни, расска-

занную Липшицем, Андриюшины уточнения по поводу запертой двери парадного и криков во дворе вносили необходимую точность. Сам-то Липшиц рассказывал, что «однажды, далеко за полночь, часа в три, наверно» их с женой «разбудил бешеный стук в дверь».

«Модильяни, изрядно пьяный. С трудом ворочая языком, он кое-как сумел мне объяснить, что он видел у меня на книжной полке томик стихов Вийона и что он хотел бы его взять. Я зажег керосиновую лампу и стал искать тот томик, надеясь его утихомирить и снова уснуть. Как бы не так. Напрасная надежда. Он сел в кресло и стал читать вслух своим звучным голосом... Дом был сплошь заселен рабочим людом. Вскоре соседи начали стучать в стены, в пол и потолок моей комнаты, кричать — «Прекратите шум».

Как сейчас вижу эту сцену — маленькая комнатка, среди глубокой тьмы таинственный, дрожащий огонек керосиновой лампы, пьяный Модильяни, сидящий в кресле, как привидение, и читающий Вийона — все громче и громче по мере того, как нарастал аккомпанемент шума вокруг нашей кельи. Продолжалось это несколько часов, пока он не выбился из сил».

Ах, поэт Липшиц. Они ведь все любили писать, эти гении «горячих деньков Монпарнаса», о которых нынче столько гово-

рят и пишут. Описания пьяного Модильяни, танцующего, как медведь, под фонарем на площади или читающего стихи, описания призрачной ночной жизни «Улья» оставили и Кокто, и Шагал, и Цадкин, и Леже, и Шапиро... Нам к профессиональному описанию остается домыслить совсем немного. Разве что это смятение молодой женщины, шепчущей смущенно в постели: «Когда же он уйдет?» Любопытные глазки маленького Андрюши... «Я все помню...» — говорит он.

Вот и конец моего первого отступления на тему о невидимых связях и развилках судьбы. А вот, еще и второе, тоже недлинное, ближе к Сутину, но не к сути...

Моя мамочка, ее сестра-двойняшка, ее два брата и ее мама, то есть моя бабушка, родились в том же самом местечке Смиловичи, что и Хаим Сутин. Прочитав в вышедшей недавно в новом французском переводе послевоенной книге американского этнографа (а по совместительству агента НКВД) Марка Зборовского умиленные строки о том, что еврейское местечко было подобно книге, лицом повернутой к Богу, я был озадачен. Гораздо более правдоподобными показались мне свидетельства о том, что Хаим Сутин никогда не хотел вспоминать про местечко, да и слышать о нем не желал. Мои-то ведь тоже удрали из местечка (и из очерченного им властями

загона «черты») при первой возможности (на беду, возможность эта совпала не только с русской революцией, но и с Октябрьским переворотом)... Про местечко они вспоминали с ужасом, а слово «местечковый» было для них уничижительным синонимом невежества, узости, жлобства. А ведь бедолаге Сутину досталось куда горше, чем моим. Он был одиннадцатый ребенок в семье нищего портного и вырвался из местечка чудом. Родительские рассказы о Смиловичах не вдохновляли меня на поездку по всям «исторической родины», и все же, земную жизнь пройдя до середины и исколесив всю страну, я решил побывать и в Белоруссии (она же — в зависимости от того, в какой энциклопедии ты станешь искать эти места, — называется и Литвой, и Польшей). Двинувшись поутру из Минска на попутке, я вышел на шоссе близ местечка, и первым, что я увидел у дороги, было кладбище. Оно было христианское, католическое, и все надписи на крестах были польские. Тут-то я только понял, почему в первую же свою поездку в Варшаву я так быстро заговорил на тамошнем языке (я его просто-напросто «вспомнил») и почему тамошняя пища так мучительно-сладко напоминала мне бабушкину кухню. Вспомнив, что и в речи моих родителей было много польских слов, я подумал, что Хаим Сутин, наверное, все понимал в Вильне,

куда его занесло из Минска. Пройдя местечко, я вышел на окраинную улочку, где стояли крошечные деревянные домишки в два-три окна. В таком вот домике уютилось обширное семейство портного Сутина. В таком жили и наши. От улицы начинался пустырь заброшенного еврейского кладбища. На нем валялся мусор, паслись козы, но, знай я древнееврейский, я смог бы, вероятно, отыскать надгробные камни Сутиных или своих Русиновых. На одном памятнике, самом большом, новом и недавно только побеленном, была надпись по-русски. Она сообщала, что в одно недоброе октябрьское утро 1941 года фашисты, войдя в местечко, расстреляли все его еврейское население — две тысячи человек. Мои москвичи-родители избежали этой участи, но в толпе детей и женщин, падавших в тот день под пулями карателей, у них были десятки родственников. Наверняка были там и многочисленные Сутины. Художник Хаим Сутин жил в то время в Париже, прятался от облав и особо патриотичных французов, старался не выходить из дому. Симона Синьоре вспоминает, что она покупала для него краски, так как ему опасно было появляться даже у знакомого торговца. Кто знает, что обострило старую его болезнь — прежнее пьянство или новые страхи? Он умер в парижской больнице в 1943-м, пережив на двадцать с лиш-

ним лет своего друга-тоscanца, главного героя нашей истории, к которому нам с вами пришло время вернуться...

Для двадцатипятилетнего Амедео этот год перед встречей с молодой русской поэтессой (1909 — 1910) был годом особенно напряженного поиска и труда. То ли влиянье африканского его увлечения, то ли знакомство с соседом по Сите Фальгьер, румыном Бранкузи, укрепило в нем желание продолжать занятия скульптурой. Не только Бранкузи поддерживал Моди в этом намерении, но и русские его друзья-скульпторы — Осип Цадкин, Оскар Мещанинов, Жак Липшиц, Надельман. Конечно, и скульптура его должна была стать открытием, на меньшее он был не согласен. Ясно, что творенья его не будут глиняными моделями, отдаваемыми на доделку подмастерьям (как у какого-нибудь Родена или старика Буше), — он сам будет как каторжный бить по камню. Перед ним маячили африканские и тихоокеанские примитивы, шедевры европейской ранней готики, загадочные лики Древнего Египта. И вот они с друзьями до хрипоты спорят теперь о путях современной скульптуры. Но и живопись он не бросает. Просто он по возможности скрывает от живописцев, что всерьез занялся скульптурой, а скульпторам не рассказывает о своих поисках и находках в живописи (среди них ведь еще есть сопер-

начающие, а порой и вовсе враждебные группы). Труды его требовали много времени, помещения, материалов, денег (есть легенда, что ему доводилось в то время красть камни со стройки). Ну и притом разоряло ведь еще неизбежное кафе «Ротонда», этот приют художников, маршанов-торговцев, натурщиц, литераторов, монпарнасской богемы, разоряли губительные вино и гашиш... Летом 1909-го друзья уговорили его, вконец отошавшего, поехать домой отдохнуть. Увидев своего обтрепанного, как нищий, и изможденного Дэдо на пристани в Ливорно, мать всплеснула руками и, пряча слезы, принялась за хлопоты — откормить, приодеть, приласкать, успокоить... О, с ним было нелегко, с нынешним Дэдо, вернувшимся в отчий дом из дебрей «Улья» и Монпарнаса. Ножницами он сам кое-как подкоротил рукава у нового, заказанного ею костюма, оторвал подкладку у купленной ею шикарной шляпы... И все же он был дома, и мать была счастлива. Она написала о своей радости невестке Вере, жене социалиста Эммануэле. Вера приехала тоже, и Дэдо написал ее портрет. Он встретил в Ливорно двадцатидвухлетнюю Биче, вместе с которой когда-то учился в школе, и немедленно сел за ее портрет. У нее была такая длинная, такая прекрасная шея, у этой юной Биче... Мать была счастлива. Как знать — может,

он женится, останется дома... Приехала тетушка Лора Гарсен, и они с Дэдо засели писать статьи об искусстве. Потом Дэдо пропадал в ателье у друга, потом пытался достать камень для скульптуры, потом писал какого-то нищего, а потом... Потом он вдруг снова уехал в этот свой неотвязный Париж.

Доктор Поль Александр нашел в почтовом ящике записку Моди: «Дорогой П., я уже неделю в Париже. Зашел к тебе на Малаховское, но напрасно. Очень хочу тебя видеть. Привет. Модильяни». Моди не терпелось показать своему почитателю и меценату (очень еще небогатому, впрочем, меценату) новое полотно — «Нищий из Ливорно». В Салоне Независимых в тот год (год его знакомства с Анной) он выставил шесть картин и этюдов (в том числе три написанные в Ливорно). Восторженный его поклонник, доктор Александр считал, что своим этюдом «Виолончелист» Моди «превозмошел Сезанна».

Засучив рукава, он упрямо принимается за скульптуру, не оставляя, впрочем, и напряженных своих поисков в живописи, в области портрета. Конечно, по-прежнему не хватает денег, приходится менять жилье (тогда, как и сейчас, стоившее дорого в Париже). Даже такой дотошный его биограф, как Жанна Модильяни, не смогла установить с точностью, когда и в какой из



своих многочисленных квартир он жил в эти годы, — когда в «Улье», когда на Монпарнасе (дом 39), когда на бульваре Распай, 216, когда на улице Сен-Готар, когда в проезде Элизе де Бозар, когда в монастыре Птиц, когда в знаменитом Бато-Лавуар, когда на улице Дуэ... Похоже, что к 1911-му он водворился уже в мастерской в Сите Фальгьер... Но зима 1909—1910-го еще была нелегкой.

А весной 1910-го в Париж приехала Анна. Точнее, приехали молодожены, муж и жена Гумилевы...

# Первая встреча

**И** так, поздней весной, в самом начале июня супругов Гумилевых можно увидеть на парижской улице. Вот они выходят из отеля после завтрака, замерли на мгновение на тротуаре, и мы с вами тоже — давайте остановимся на мгновение и приглядимся к ним обоим на этой идиллически беспечной и праздничной улице довоенного Парижа (до страшной европейской катастрофы, увлекшей за собой в бездну миллионы жизней и целую Россию, до выстрела сербского террориста в злосчастном Сараеве оставалось еще целых четыре года). Начнем, конечно, с нее...

Она очень высокая, с царственной походкой и неповторимым, нисколько не русским профилем — этот точно срезанный, отнюдь не маленький, безусловно царственный нос (профиль ее ни с чьим не спутаешь, и на этом отчасти основаны нынешние сенсационные открытия). Так как повесть наша документальная, предоставлю слово тем, кто ее видели в те годы. Н. Г. Чулкова встречала Аннушку на париж-

ской улице, где и мы с вами сейчас стоим, невидимые и никем не признанные, так что свидетельство г-жи Чулковой для нас очень существенно.

«Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее. Мужчины, как это принято в Париже, вслух выражали свое восхищение, женщины с завистью обмеривали ее глазами. Она была высокая, стройная и гибкая... На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусовым пером — это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж — поэт Н.С. Гумилев».

Здесь беглый портрет — Анна словно отражена здесь в глазах прохожего — парижанина, и напрасно требовать от мимолетного этого наброска словесной точности. Ибо что значит «очень красива»? Даже влюбленные в нее мужчины говорили (чуть позднее, впрочем, еще через пять и через десять лет) не о красоте ее, а о чем-то ином, «даже большем, чем красота». Вот как влюбленный в нее эстет, литературовед и писатель Николай Недоброво писал о ней (27 апреля 1914 года) своему другу-художнику (мозаичисту) Борису Анрепу: «Попросту красивой назвать ее нельзя, но внешность ее настолько интересна, что с нее стоит сделать и леонардовский рисунок, и гейнсборовский портрет маслом, и икону

темперой, а душе всего поместить в самом значащем месте мозаики, изображающей мир поэзии...». Забегая далеко вперед, напомним, что портретов ее писали уже в те годы множество, а мозаику Борис Анреп сделал для Лондонской Национальной галереи сорок лет спустя... Ну а тогда, после получения этого письма от друга, он сделал самое прекрасное, хотя, вероятно, и не самое долговечное и высоконравственное из всего, что может сделать художник, — полюбил прекрасную госпожу Гумилеву, и был ею любим.

Объективности ради приведем свидетельство и другого литератора, поэта и критика (Г. Адамовича), чье мнение трудно счесть пристрастным, ибо страсть в нем зажигали, как правило, не женщины, а мужчины.

«...Нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своею выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание...»

Добавим к этому, что она была ясновидящая, русалка, ворожея, ведунья, колдунья (или считала себя таковой, а это почти то же самое), что она была «настоящий поэт» (или уже считала себя таковым), что

она была загадочная «русская аристократка» из загадочной страны России. Загадками этими заинтриговали Францию Тургенев, Толстой и Достоевский, над Монпарнасом уже витал тогда романтический образ «монпарнасской мадонны» Марии Башкирцевой, и, может, поэтому новые русские эгерии одерживали почти без труда свои блистательные победы на Монпарнасе (Гала, Эльза, Майя, Лидия, Дина). О них нынче много написано — о них, но не об Анне, ибо Анна, вообще, совсем иное, Anne они все, конечно, не ровня...

Ну а спутник ее, что стоит в этот весенний день 1910 года на тротуаре рядом с растерянной женой, оглядывая хорошо знакомую, даже, можно сказать, привычную для него парижскую улицу, — Николай Степанович, Николай Гумилев, Коля, — что он, каков на вид? Так мало говорят нам все эти его бледные фотографии и дагерротипы начала века, что предпочтем снова предоставить слово его современникам, мужчинам и женщинам. Вот, скажем, как описывает тогдашнего Гумилева Сергей Маковский. «Юноша был тонок, строен, в элегантном университетском сюртуке, с очень высоким, темносиним воротником (тогдашняя мода) и причесан на пробор тщательно. Но лицо его благообразием не отличалось, бесформенно мягкий нос, толстоватые бледные губы и немного косящий взгляд

(белые точеные руки я заметил не сразу). Портил его и недостаток речи. Николай Степанович плохо произносил некоторые буквы, как-то особенно заметно шепелявил...» Совсем юному царскоселу Николаю Оцупу тоже запомнились «сильно удлиненная, как будто вытянутая вверх голова, косые глаза, тяжелые медлительные движения, и ко всему очень трудный выговор...». Женщины, впрочем, к внешности Гумилева куда более снисходительны, женщинам он умел внушать симпатию и даже любовь. По описанию жены его брата, он был «высокий, худощавый, очень приветливый, с крупными чертами лица, с большими светлосиними, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми, гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, с необыкновенно тонкими, красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая, и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно». Оригинальность и подчеркнутую элегантность его костюма отмечали, впрочем, все — и лиловые носки при лимонной феске и русской рубахе на даче (по описанию дачной соседки госпожи Неведомской), и оленью доху с белым рисунком по подолу, ушастую оленью шапку и пестрый африканский портфель зимой в Петербурге (по описанию ученицы его на ниве поэзии Ирины Одоевцевой;

как многие недоучившиеся люди, преподавать и учить он очень любил). Обе упомянутые нами в скобках женщины были, по свидетельству Ахматовой, возлюбленными Гумилева, а последняя из них была даже, по выражению той же Ахматовой, его «неофициальной вдовой», так что он пользовался несомненным успехом у бесчисленных дам (зачем нужно ему было столько дам, разговор у нас пойдет дальше). Если Одоевцева, описывая полвека спустя его внешность (Ах, доведется ли нам, милый читатель, описывать внешность бывших своих возлюбленных еще и полвека спустя? Спеши, медицина, спеши и падай!), подчеркивает как главные ее черты «особенность» и «некрасивость» («Трудно представить себе более некрасивого, более особенного человека. Все в нем было особенное и особенно некрасивое...»), то госпожа Неведомская, не уступая знаменитой поэтессе в изяществе слога, судит о былом возлюбленном помягче, вспоминая, что у него было «очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнута церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмеваются...».

Таков портрет молодого супруга Анны... В нем уже угадывается подчеркнутая манерность, непрестанная игра, «игра в

роли», ставшая второй натурой. Роли, маски, литературные его герои срастались с этим странным юношей, и в упорстве своем он переделывал самую свою природу. Он был хилым и не слишком героическим персонажем от рождения, но он срастался мало-помалу с персонажами своей «конквистадорской» поэзии и становился бесстрашным, рвался в бой, проявил героизм на войне и обрел (среди многих прочих, впрочем, таких же, как он, ни в чем не повинных) славную, мученическую смерть под пулями большевистских убийц (последнее слово не метафора, а единственное приходящее мне в голову точное обозначение профессии, любимого занятия, склада характера и самого направления деятельности тех, кому судьба дозволила семь десятилетий обагрять кровью мою бедную родину, кажется снова заскучавшую уже по тирану, спаси ее Господь)...

Можно догадаться, глядя сейчас на молодую пару, стоящую на парижском тротуаре, что, наряду с молодой радостью от встречи с весенним солнечным утром и этим желанным для всякого русского прославленным городом, оба испытывают душевное смятение от того, каким тяжким оказалось совместное постоянное житье, как оно противоречит всем их представлениям об ослепительном счастье, которое должно было свалиться на них от этого соедине-



ния под одной крышей, как трудно обоим, гордецам и своевольникам, отказаться хоть в малом от своей «постылой свободы», как непохожи ночные неловкие их, зачастую попросту унижительные усилия на то восхитительное бесконечное забвенье страсти, о котором они столько читали, столько слышали и даже писали уже в своем нетерпенье открыть миру глаза. Можно предположить, что наш влюбленный конквистадор слишком сильно робел для того, чтобы заявить о своем праве старшего и мужчины (да и существует ли такое право?). Она же, полная мыслей и воспоминаний о читанном, выдуманном, полуиспытанном, вряд ли могла его поощрить, подбодрить, научить чему-либо. Невольно должна была посещать ее (да, наверно, и его тоже) мысль о том, что с другим (с другой) было бы иначе, было бы по-настоящему. После стольких богохульственных гипотез отважусь также на предположение, что ей (слишком много думающей и воображающей) и вообще не суждено было познать во многих ее любовных поисках этого счастливого самозабвения, без труда сниспосылаемого счастливой пейзажке из степей Украины или из африканских зарослей (перефразируя бедного Чехова, возьмем на себя дерзость предостеречь потенциальных женихов — сохраняя, конечно, юмор и надлежащую дистанцию: «Упаси вас Боже жениться на ак-

терках, поэтессах, режиссерках, литературоведках...»). Отсюда, может, и вечный ее поиск (более поздние ее браки, возможно, и были бы, впрочем, более долговечными, не прими к той поре истинно американский размах деловитый большевистский отстрел интеллигенции). Однако мы слишком далеко забегаем вперед, добросовестно, но неделикатно залезая в тайны чужой брачной ночи (для общей пользы, конечно, не из праздного любопытства, а все же...). Уподобимся пока просто поверхностным праздным прохожим на тротуаре и воскликнем, имитируя по возможности этот невозможный акцент: «О ля-ля, кель нана! Что за фемина! Да и мужик с ней рядом забавный... Откуда их только к нам занесло? Куда идут?» Тут бы нам с вами впору отправиться вослед молодоженам на прогулку по улицам, площадям и скверам несравненного Парижа — Латинский квартал, Большие Бульвары, Елисейские поля, Опера, Маре, остров Сите, Пасси, Монпарнас, Трокадеро, — но боюсь, прогулка эта затянется страниц на триста, так что отложим прогулку до следующей книги, а пока скажу только, что, показав молодой супруге упомянутые выше красоты прославленного города, конечно уж, привел ее Гумилев на Монпарнас — в знаменитую «Ротонду», что и ныне красуется вывеской, былой славой и новой дороговизной на углу буль-

вара Распай, улицы Вавэн и бульвара Монпарнас (памятный для русских на протяжении чуть не трех десятилетий угол). Думаю, что именно тут, в «Ротонде», и увидели впервые друг друга Анна и Амедео. Это, как выражаются люди с высоким образованием, гипотеза, потому что должно-го отражения в «источниках» (тоже высоко-го полета слово) этот момент не получил. Как и все прочие сцены, нами не подсмотренные лично, и все нами не подслушанные диалоги, эта сцена все же опирается на другими виденное, слышанное и записанное, так что она тоже в определенной степени документальна. Итак, «Ротонда»...

Ко времени приезда нашей героини в Париж окончательно сложилась репутация Большого Монпарнаса, а крошечное кафе «Ротонда» обзавелось красивым залом (точность сообщения — на совести Анри Раме и его записок «Тридцать лет Монпарнаса»). Впрочем, очень скоро и в этом зале стало тесно, шумно и накурено, как в каком-нибудь английском пабе. В самые бойкие часы, с пяти вечера до полуночи, здесь нелегко было найти место за столиком. Одни со стаканами в руках стояли вокруг стойки, оживленно о чем-то споря, другие деловито пробирались между спинами, стараясь не расплескать ненароком свои и чужие стаканы. Были тут заезжие новички-иностранцы, но по большей части все же

были свои, завсегда и — художники, скульпторы, поклонники искусства, они же зачастую и торговцы — маршаны, поэты, актеры и актрисы, будущие знаменитости («будущих» вообще было много), журналисты, манекенщицы и прочий богемный люд, «монпарно». Конечно, попадались также разных стран и национальностей политики, тоже пока мало кому известные, — скажем, бывал Лев Троцкий с мексиканским другом своим, кубистом Диего Риверой, которому суждено было стать у себя в Мексике большой знаменитостью. Интересно, что чувствовал поэт и ясновидец Гумилев, сталкиваясь у стойки с одним из будущих своих палачей — Троцким? Да и сам-то Троцкий мог ли разглядеть очертания будущей российской своей карьеры и страшного своего конца (да уже и не в России, а в Мексике его друга Диего Риверы), разглядеть в веселой гомонящей толпе у стойки тех, кто предадут его другому бандиту из их шайки? Куда там... никто ничего не почувствовал, не разглядел, на дворе стояла еще только весна 1910-го, славная предвоенная весна мирного Парижа. Вон доказывает что-то кому-то острый на язык молодой Эренбург, человек, который позднее то ли обманул судьбу, то ли разменял талант. А вон пришел уже преуспевающий испанец Пабло Пикассо и с ним неизменный Ортис де Зарате. Вон и скульп-

птор Осип Цадкин пришел с верной своей спутницей, огромной собакой Калуш, — загоняет собаку под стол, чтоб не злить добрейшего хозяина «Ротонды», весьма, впрочем, снисходительного к художникам. Вон и еще два скульптора, тоже русские, — Оскар Мешанинов и Жак Липшиц, и Мария Васильева с ученицей, и поэт Марк Талов. А вон и еще обитатели «Улья» — лихой то ли индеец, то ли ковбой Грановский, рубаха-парень (до самого нацистского крематория дотянет на Монпарнасе), и знаменитый «Кики», Кислинг, монпарнасский завсегдаятай, по нему утром можно часы ставить — в шесть Кислинг идет из бара (но писать все же успевает и уже вошел в моду). Рядом с Кислингом — мулатка Айша, манекенщица, его и многих верная подруга, экзотический цветок Монпарнаса. Есть и вторая, Кики, еще ярче звездочка, хотя и беленькая. В один прекрасный день она сама взялась за кисть, и оказался талант (кто ж сомневался?). Потом написала мемуары. Потом стала певицей. Говорят, что потом фашисты ее расстреляли «по подозрению...» (таланты и у красных и у коричневых на подозрении). Вон старики пришли — Андре Дерен, Отон Фриз, Шарль Герен. Японец Фужита с серьгой в ухе, важный, молчаливый, изредка перекинется двумя-тремя словами с денди в фетровой шляпе и красном шар-

фе, тосканцем Модильяни. Этот, последний, с неизменным своим синим блокнотом, пока трезв, говорит мало — все время рисует. Иногда вдруг остервенело рвет прелестный рисунок, чем-то не дотянувший до ему одному известного уровня. Ищет глазами новую модель, потому что без контакта с человеческим лицом, душой, фигурой — писать не может. Для него нет ничего в мире, кроме этого венца творенья — человека. Огляделся вокруг — и вдруг замер изумленно... Лицо... И какое лицо... Молодая женщина... Откуда? Женщины тут вообще редки, но такие и во все... Она ощутила этот взгляд, подошла, села напротив. Они заговорили... Где был в это время Гумилев? Может, отошел взять кофе, рюмку вина. Когда вернулся, он все понял и пришел в ярость — этого он ждал, этого опасался все время...

Она-то сразу, как вошли, заметила этого красивого человека в красном шарфе. Через полвека рассказывала об этом мгновенье многим — всякий раз по-разному, уже шло мифотворчество. Рассказывала и писала, что он «был совсем не похож ни на кого на свете» (не слишком оригинальная фраза для влюбленной женщины — хотя бы она и была великая поэтесса и хотя бы со дня их встречи прошло 54 года!). Рассказывала, что «все божественное» в нем «только искрилось сквозь какой-то мрак».

Рассказывала, как впервые заметила красивого, бледного человека в красном шарфе... Рассказывала, что ее поразило его голос (о котором она потом столько раз писала в стихах). По-разному вспоминала. Скажем, так... «Думаю, какой интересный еврей... А он думает, какая интересная француженка...» — это уже из поздних, повторившихся (но часто противоречивших друг другу) рассказов, из тех, что подруга Надя называет «пластинками», и это, конечно, была выдумка. Ведь только год спустя (по ее собственному свидетельству) он впервые сообщил ей, что он еврей (сообщил, чтобы вдруг не подумала, что скрывает). Что ж до того первого раза... Он ведь и не похож был на еврея (особенно в космополитической толпе «Ротонды»). Она к тому же не знала, скорей всего, кто это такой, сефард... Что же до него, то он тоже вряд ли принял ее за француженку — слишком яркое лицо, иная смесь кровей...

Может, их представил тогда друг другу кто-нибудь из русских (скажем, Мария Васильева или Осип Цадкин). Это не так важно, в конце концов. Теперь нужно было заговорить. Кто заговорил первый? Она вспоминает, что его поразило ее умение читать мысли, умение, о котором «все знали» (где знали — в Царском Селе, в Киеве?). Может, и правда поразило... Когда женщина нравится, в ней все поражает.

Ну а что там она угадала, какие мысли? Была ведь еще совсем молоденькая... Наверно, сказала. «Как только вы можете работать в таком аду?» А он отозвался (он часто так говорил, и Леопольд Сюрваж даже записал в свой блокнот эту его жалобу)... «Да, вы угадали... Здесь тяжело... Моя страна Италия, где все дышит искусством... Флоренция... Или родной мой город Ливорно... Меня тянет туда. Счастье там, и там здоровье... Но живопись сильнее... А только в Париже я могу работать. Страдать, быть несчастным, но работать...»

Он не сказал — погибнуть, но слово это могло прийти ей в голову. Какое сердце не дрогнет при такой исповеди? Она взглянула на его стакан, и он кивнул, сказал с вызовом. «Алкоголь отгораживает от всего... Уводит внутрь самого себя... Я пью не для веселья. Это тоже для работы...»

Он оборвал линию в блокноте. «Покажите», — сказала она. Она так хотела увидеть, что там. К ее ужасу, он вдруг стал с остервенением рвать лист, выдернув его из блокнота. «Да, да... — сказала она вдруг, — мои старые стихи... Я тоже...» Он поднял голову, и она поняла, что слово «стихи» для него не безразлично. «Мой муж поэт», — сказала она гордо. Но он даже не повернул голову к подошедшему Гумилеву. Гумилев сказал по-русски, что пора уходить из этого сарая. Что и так уж они слишком...



Точнее, она слишком... Модильяни вдруг заговорил, ни к кому не обращаясь. Голос у него стал обиженным, сварливым. Он сказал, что это низость — говорить при нем на языке, которого он не знает. Что ни один из его русских друзей так бы не поступил. Что он никому не позволит... На них теперь смотрели с любопытством. Все знали, что когда у Моды такой голос... «Нам надо идти», — сказала она, поспешно вставая. Гумилев улыбался — он-то знал, что этим кончится. Моды вдруг притих. «Мне нужен ваш адрес, — сказал он с отчаяньем, — я все объясню. Вы ничего не поняли...» «Я принесу адрес, — сказала она. — Я еще зайду...»

Гумилев смотрел на нее с отчаяньем. Он уже знал, что ее не остановит ничто. Она сделает все, чего ей захочется. Свободная женщина, свобода, борьба за свободу — Боже, какая тоска... Она будет сидеть бледная и страдальчески молчать, когда они придут в отель, и им снова нечего будет делать друг с другом.

У нас, как точеные, руки,  
Красивы у нас имена?  
Но мертвой, томительной скуке  
Душа навсегда отдана.

Позднее она рассказывала, что у Гумилева произошла какая-то ссора с Моды, из-за того что Гумилев говорил в его присут-

ствии по-русски, что Модильяни был пьян. Когда и где это было, она не уточняла, она вообще почти никогда не говорила о том, что знал и что думал обо всем этом Николай Гумилев. Раз только проговори-лась смутно через пятнадцать лет и то сразу пошла на попятный...

Через полвека в своих очень сдержан-ных воспоминаниях (о ее чувствах там ни слова) она написала, что они виделись с Амедео в 1910-м, но тогда она «видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз». Легко понять, что ей, при всем ее своевол-ии, непросто было уходить одной, без молодого мужа, в этом странном «свадебном путешествии»... Где она виделась с Амедео, что было между ними?.. Иные искусствове-ды датируют ее «ню» 1910 годом. Может, он уже тогда рисовал ее «ню»? Где?..

Он писал ей «всю зиму» безумные пись-ма, из которых она «запомнила несколько фраз», а гласности предала две фразы, и впрямь влюбленные...

## Он — между первой и второй встречей

**А**нна написала полвека спустя, что оба они стояли в пору их встречи на пороге самораскрытия, реализации таланта. Амедео, впрочем, шел к этой реализации уже давно, но 1910-й был для него и впрямь очень важным. «Решительный поворот для Модильяни приходится, по моему мнению, на 1910-й», — пишет дочь Амедео Жанна Модильяни, один из немногих его биографов. Он с упорством занимался в то время и скульптурой и живописью. Скульптор Жак Липшиц так вспоминает о посещении мастерской Модильяни в Сите Фальгьер. «Когда я пришел к нему, он работал, стоя, и несколько каменных голов — кажется, пять — стояли на цементном покрытии двора перед ателье. Он как раз группировал их. Как сейчас вижу, склоняясь над ними, он объясняет мне, что они должны являть единое целое. Если не ошибаюсь, они были, насколько помню, спустя несколько месяцев выставлены в Осеннем салоне, где стояли, точно трубы какого-то органа, настроенного на музыку, звучащую у него в душе».

Ра́ме вспоминает, с каким упорством и упоением работал тосканец, его сосед по ателье в «Розовой вилле», как называли тамошние художники дом в Сите Фальгьер:

«Просыпаясь рано, Модильяни тесал во дворе камень. Головы на длинной шее выстраивались в шеренгу перед его ателье, одни лишь едва тронутые резцом, другие уже завершённые... К вечеру, закончив труд, он поливал свои скульптуры. С любовью, как поливают цветы, этот рачительный и дотошный скульптор-садовник ждал, пока стечет вся вода через дырочки лейки, и вода струилась по священным примитивам, рожденным под его резцом. Потом, присев на корточки у входа в свое ателье, он наблюдал, как они сверкают в последних отблесках заходящего солнца, и говорил, спокойный, счастливый: «Они точно отлиты из золота»».

Это и были те мгновенья покоя и счастья труда, которые давал ему Париж, отнимавший у него здоровье.

Ра́ме вспоминает, что со временем скульптурные образы Модильяни становились все более обобщенными, «его головы мало-помалу принимали форму удлиненных яиц, установленных на безупречных цилиндрах, с легким только намеком на прорези глаз, нос и рот, которые не должны были нарушать единство пластической формы».

Тот же Раме вспоминает об упорной работе Модильяни над портретами, вспоминает, как мало ему удавалось заработать редкой продажей рисунка или наброска. Долги его терпеливой хозяйке «Розовой виллы», а позднее и ее наследнику росли угрожающе. Но он давно уж жил в кредит... Деньги мало интересовали его — он был одним из самых беспечных и бескорыстных художников на нищем и беспечном Монпарнасе. Может, и этим тоже объяснялось раннее рождение его легенды — ведь бескорыстие нищего художника важная составляющая мифа о богеме.

В тот год он познакомился с компанией португальцев, и другом его стал выходец из богатой португальской семьи, талантливый и благородный Амедео да Суза Кардозо. Да Суза, познакомившись с работами Модильяни, предложил ему устроить у себя в ателье на улице Колонель-Комб выставку скульптур и гуашей, на которых были представлены и «кариатиды».

В поисках своего пути отчаянно бившийся о стену непостижимой жизни Модильяни обращался и к вину и к гашишу, о которых один из его кумиров (Бодлер) писал как о средстве «расширения индивидуальности». У Модильяни было то самое бодлеровское стремление, «распалив свой опыт, приоткрыть завесу бесконечности». Эксперименты эти стоили ему здоровья и вверга-

ли его в новые долги. Именно к тому времени относится его письмо к брату Умберто.

«Милый Умберто,  
прежде всего — спасибо за неожиданное воспомоществование. Со временем, надеюсь, я смогу войти в колею, главное — не терять головы. Ты спрашиваешь, что я намерен делать. Работать, выставляться. У меня такое чувство, что в один прекрасный день я себе пробью путь...»

В этот трудный год он часто вспоминал о встрече с этой удивительной, ни на кого не похожей русской незнакомкой и писал ей отчаянные, несдержанно нежные письма. Ему хотелось снова смотреть ей в глаза, как тогда... Когда тогда? Где тогда? Где и сколько раз успели они встретиться? Мы не знаем. Не знаем и того, что она писала в ответ на его письма. Мы знаем только, что она сделала в ответ на них...

## Она — после первой встречи с ним

**В** Петербург Гумилевы возвращались в одном вагоне с Сергеем Маковским. Нетрудно догадаться, что юной, никому пока не известной (да и не написавшей пока, наверно, ни одного стоящего стихотворения) поэтессе льстило общение с влиятельным редактором модного петербургского журнала, с самим Маковским, Колиным покровителем. Легко представить себе и то, что юной, печальной Анне, смущенной неладными в браке и новой своей, парижской тайной, нетрудно было очаровать влюбчивого и поверхностного женолюба Маковского, для которого «ясны были» причины явно обозначившегося семейного разлада Гумилевых (причины, которые и самим-то супругам редко бывают ясны до конца). Он был, конечно, на стороне страдающей (и такой прекрасной в своем страдании) Анны — хотя понимал уже и тогда, что для «повесы» Гумилева она «единственная». Что мог знать о ней Маковский? Что он мог знать о только что пережитом ею в Париже? О новых ее семейных затруднениях в связи с новой лю-

бовью? Он просто внимал звукам волновавшего его голоса и наперед, заранее принимал то, что позднее подруга ее и соперница с яростью называла ее «несравненной правотой»... Впрочем, и это было позднее, а пока поезд еще мчит из Парижа, мы только на пути к Варшаве, и мы снова предоставим слово попутчику Анны.

«В железнодорожном вагоне, под укачивающий стук колес, легче всего разговариваться «по душе». Анна Андреевна, хорошо помню, меня сразу заинтересовала, и не только в качестве законной жены Гумилева, повесы из повес, у которого на моих глазах столько завязывалось и развязывалось романов «без последствий», — но весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной, с печальной складкой рта, вызывал не то растроганное любопытство, не то жалость...»

О чем говорила и о чем молчала скрытная мечтательница, бледненькая, такая юная, тоненькая, хрупкая на вид, гибкая, но не ломкая царскосельско-киевская красавица? Потерпите чуть-чуть, скоро хлынут удивительные стихи и нам о многом расскажут (хотя, по мнению критики, они до крайности скрытны, зашифрованы, загадочны, как она сама, киевская колдунья тех дальних лет). Пока же перенесемся в Россию, в Царское Село, в комнату, где поневоле, если не по желанью, сходятся ежедневно



два не приспособленных к совместному житью, два гордых, вольнолюбивых, обидчивых, не знающих удержу и законов (желанье и воля поэта — превыше всего), два безудержно сомнительных существа. Не бывает одного виновного в семейном разладе, оба виновны, но здесь, пока еще, с довольно большой степенью очевидности Николай — сторона безвинно страдающая, он более, чем она, влюблен, уязвлен, он, вероятно, ранен (и смертельно) этой неудачей (которая, как выражаются нынче, могла быть заранее просчитана, была заранее запрограммирована). Он (как и чужой человек Маковский) ничего не понимает в ее поведении и чувствах, вернее, боится понять и боится принять догадку за окончательную реальность, глядит на это любимое, но отчужденное и чужое лицо и пытается отшутиться знаменитым (и куда как не шуточным) стихотвореньем.

Из логова змиева,  
Из города Киева,  
Я взял не жену, а колдунью.  
А думал — забавницу,  
Гадал — своенравницу,  
Веселю птицу-певунью.

Молчит, только ежится,  
И все ей неможется,  
Мне жалко ее, виноватую,  
Как птицу подбитую,

Березу подрывую  
Над очастью, Богом залятою.

Он и не в рифму жаловался потом своим поклонницам, что Анна «всегда была грустна, всегда имела страдальческий вид»... Тот из вас, кто никогда, даже и в молодые годы, не женился на юных «свое-нравницах», не знающих ни удержу, ни правил, ни себя самих, пусть бросит в него камень, в нашего бедного конквистадора. Вот ведь выпало человеку испытанье, почище абиссинских дебрей и окопов страшной войны, разве только не страшной большевистского застенка, потому что все же между людьми... Помучает, а потом пожалеет своего «тихого брата», друга школьных лет, верного вздыхателя... И не до смерти все же умучает.

Отчего пишет он уже в этих ранних стихах про ее вину («ее, виноватую»)? В чем ее вина? В том, что пошла замуж, не зная наверняка, кто ей нужен и что нужно? Или уже знает он что-то о парижских ее эскападах? Так или иначе, дома их ждали бесконечные «объяснения», разговор глухих, точнее, диалоги с немой («молчит, только ежится»), невыносимые дни (а ночи, что ночи?). «По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил серьезно и гордится ею...» — просто-вато сообщает тот же Маковский... Все

это, однако, скоро становится им не по силам. Ей первой — она уезжает в ту зиму к матери в Киев, и раз, и два. Он пытается спасти свое мужское самолюбие. Может, и не наилучшим способом, но тут уж — спасайся как можешь («И как-нибудь уж там застраховать простое самолюбие мужчины», — пел один из кумиров довоенной Москвы). Как и прежде, до этой долгожданной женитьбы, он должен себе доказывать, что он мужчина, воин, конквистадор, покоритель, завоеватель. «Отстаивая свою «свободу», — пишет о Гумилеве все тот же поверхностный наблюдатель, — он на целый день уезжал из Царского, где-то пропадал до поздней ночи и даже не утаивал своих «побед»».

Зачем, интересно, он стал бы утаивать? Для того и «победы» были, чтоб ей доказать...

«Ахматова страдала глубоко...» — пишет Маковский.

Нет сомнения, что «победы» эти не могли не ранить ее самолюбие, что же до прочих догадок Маковского — о них дальше...

Некоторое время супруги живут в Слепневе, близ Бежецка. Там у матери Гумилева Анны Ивановны было небольшое имение, доставшееся ей от брата. Там был раз навсегда заведенный, старомодный, строгий порядок... Тихий дом, а вокруг — са-

ды и просторы полей... Очень скоро молодая жена Гумилева обнаружила, что в Слепневе, при всей строгости распорядка, можно найти и покой и свободу. Пока они были там вдвоем с мужем, в доме бывали соседи-дачники, среди них женщины, имевшие какие-то виды на Гумилева. Он придумывал шумные игры, например цирк, в котором Анна, конечно, изображала «женщину-змею», «демонстрируя свою гибкость»; игру «в типы», в перемену ролей, до чего Гумилев (обожавший всяческие роли и маски) был большой охотник. Впрочем, он скучал в Слепневе и уезжал оттуда при первой возможности.

Одержав кое-какие любовные победы на родине и, вероятно, не найдя в них утешения, Гумилев решается бежать в Африку (все-го-то ведь прошло два месяца после их возвращения из Парижа) и дает Анне, которая уже снова в Киеве у матери, телеграмму. «Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, потому что я уезжаю в Африку». Мог бы уехать и без телеграммы, но хотелось ее видеть, хотелось еще раз себя обмануть (Вот ведь примчалась...).

Он уехал. Анна вернулась в Киев, а с января поселилась в Царском Селе, писала стихи, ездила в Петербург, вхожа была в разные знаменитые дома, в том числе и такие, где «пахло серой»... «Бывала у Чудовских, у Толстых, у Вячеслава Иванова на

«башне»». Там она сидела, прекрасная, юная, бледная, еще молчала, еще не решалась прочесть стихи, но уже знала про себя, уже чувствовала — поэтесса, и настоящая... Но если поэзия ее еще не звучала там, то красота, осанка, гордый профиль, гибкость ее стана были замечены на «башне», где столько говорили и думали о грехе и любви, где и сам хозяин, «златокудрый бог» Вячеслав, влюблен был в свою юную падчерицу, куда юные девы шли с замиранием сердца (рассказывая мне об этом семьдесят лет спустя на кухне своей парижской квартирки на Монпарнасе, прошедшая огонь и воду и, вероятно, также службу в советских органах мадам Майя Роллан-Кудашева перешла на таинственный шепот, ибо и она некогда, тогда еще юная Маинька, поддавалась искушению Ивановских чар).

Лидия Иванова рассказывает в своих воспоминаниях, что юная жена Гумилева демонстрировала посетителям «башни» свою сказочную гибкость. Что знала об Анне юная падчерица, а потом и жена Вячеслава Иванова Вера («поняла ты, что отравная и душная во мне тоска»)? Тою же весной Анна посвятила ей стихи, где были (кроме тех, что приведены выше в скобках) и такие строки:

Меня, и грешную и праздную,  
Лишь ты одна не утрекнешь...

Но если и не возникло у Анны на «башне» какого-нибудь «рокового» романа, то, может, потому, что у нее уже была тогда своя сердечная тайна, уже были томившие ее переживания, и как нельзя более кстати оказалась эта ее новая встреча с «отечеством поэтов», с Царским Селом.

Там на портретах строги лица,  
И тонок там туман седой,  
Великолепье небылицы  
Там нежно веет резедой.  
Там нимфа с таилкой водой,  
Водой, которой не разлиться,  
Там стала лебедем Фелица  
И бронзой Пушкин молодой...

(Стихи эти записал в альбом одной царскоселке поэт, так сильно поразивший Анну в гимназические годы, — Иннокентий Анненский.)

Если не здесь, не сейчас, не в этом состоянии, не в дни смятенного одиночества и досуга («...И снова дух смятен и потревожен/ Истомной скукой Царского Села»), не в ощущении новой своей власти над сердцами, — где ж было ей и когда начинать по-настоящему?

Амедео писал ей влюбленные, осатанелые письма («Вы во мне как наваждение...»). Он-то и присутствует постоянно в этих новых ее стихах.

В пушистой муфте руки холодели.  
Мне стало страшно, стало как-то смутно.  
О, как вернуть вас, быстрые недели  
Его любви, воздушной и минутной!

Это из очень знаменитого весеннего стихотворения про облачко, которое «серело, как беличья расстеленная шкурка».

О нем, вероятно, и это полное ревности стихотворенье, которое Маковский с такой великолепной уверенностью адресует отвергнутому скитальцу Гумилеву?

Жгу до зари на окошке свечу  
И ни о ком не тоскую,  
Но не хочу, не хочу, не хочу  
Знать, как целуют другую.

Наверно, о нем и это мартовское стихотворение, где героиня-крестьянка полет лебеду в огороде, а над ней реет страх «награды злой», расплаты за грех...

Надо мною только небо,  
А со мною голос твой.

Этот его голос, который, как она призналась позднее, «навсегда остался в памяти», он и в стихотворении, помеченном февралем 1911 года.

Смотреть, как гаснут полосы  
В закатном мраке хвой,  
Пьянея звуком голоса,  
Похожего на твой.

И знать, что все потеряно,  
Что жизнь — проклятый ад!  
О, я была уверена,  
Что ты придешь назад.

Ревнуя через много-много десятилетий к былой славе и былым стихам, Ахматова хотела сохранить из всех этих сотен строк только две строки — строки про голос Амедео («Пьянея звуком голоса...»).

Февралем помечено и другое стихотворение — об измене и «непрощенной лжи».

И видела тонкие руки  
И темный насмешливый рот.  
«Ты с кем на заре целовалась,  
Клялась, что погибнешь в разлуке,  
И жгучую радость таила,  
Рыдая у черных ворот?..»

Но может, это все наши фантазии, и стихи эти ни о ком, ни о ком конкретном. Те, кто хорошо знали молодую Ахматову, не дают нам укрепиться в этом сомнении. «У Ахматовой под строками всегда вполне конкретный образ, вполне конкретный факт, — пишет В. Срезневская, — хотя и не называемый по имени». Нам-то с вами уже известно, как звали «факта» и чей образ стоял у нее тогда перед глазами.

Анна знала цену тому, что так вольно и уверенно лилось сейчас из-под ее пера. И поскольку она жила в кругу, где писание стихов и вообще искусство считалось глав-



ным (а может, и единственным достойным человека) занятием на земле, легко представить себе тогдашнее ее состояние, ее торжество, радость творчества. И трудно представить себе, чтоб она, тая это открытие, ждала до марта, пока не вернется из Африки Гумилев. Впрочем, почти такова ее версия, которую послушно повторяют ахматоведы... «Когда 25 марта 1911 года Гумилев вернулся из Аддис-Абебы, я прочла ему то, что впоследствии стало называться «Вечер», он сразу сказал: "Ты — поэт, надо делать книгу"». Это, вероятно, часть правды. А может, еще и посмертная дань тому, кого жаль, кому было недодано при жизни, дань благодарности. К тому же речь тут идет уже о «книге» (о, эта первая книга, великое событие!), а не просто о публикации. Во всяком случае, благосклонный к молодой госпоже Гумилевой Сергей Маковский по-другому излагает историю этой зимы и первой серьезной публикации Ахматовой...

«Женившись, я поселился тоже в Царском Селе... в отсутствие Гумилева навещал Ахматову, всегда какую-то загадочно-печальную и вызывающую к себе нежное сочувствие. Как-то Гумилев был в отъезде, зашла она к моей жене, читала стихи (Не обращайтесь внимания на эти обычные мемуарные экивоки — почему стихи надо читать неведомой жене, а не «нежносочув-

ствующему», навешающему ее, а может, и влюбленному в нее влиятельному петербургскому редактору и поэту? — Б. Н.). Она еще не печаталась в журналах, Гумилев «не позволял». Прослушав некоторые из ее стихотворений, я тотчас предложил поместить их в «Аполлоне». Она колебалась: что скажет Николай Степанович, когда вернется? Он был решительно против ее писательства. Но я настаивал: «Хорошо, беру на себя всю ответственность. Разрешаю вам говорить, что эти строфы я попросту выкрал из вашего альбома и напечатал самовластно».

Так и условились... Стихи Ахматовой, как появились в «Аполлоне», вызвали столько похвал, что Гумилеву, вернувшемуся из «дальних странствий», оставалось только примириться с *fait accompli* (свершившимся фактом. — Б. Н.). Позже он первый восхищался талантом жены и, хотя всегда относился ревниво к ее успеху, считал ее лучшей своей ученицей-акмеисткой».

«Но тут акмеизм — отмечу в двух словах, — пожалуй, и ни при чем, — справедливо замечает Маковский. — Дарование Ахматовой (очень большое), созревавшее в тишине и безвестности (она писала рифмованные строки с малых лет), в гумилевской выучке не нуждалось. Вкус у нее куда безусловней его вкуса, поэтический вкус, не говоря об уме, гораздо тоньше...»

Четыре стихотворения Ахматовой в «Аполлоне» появились в тот год уже, пожалуй, после возвращения Гумилева, но в целом он, вероятно, прав, нежный женолюб Маковский... Ахматова не нуждалась в советах авторитетного мэтра поэзии, вдобавок еще и приходившегося ей мужем. В ее стихах сразу открылось то, в отсутствии чего упрекали тогда (и упрекают до сих пор) самого Гумилева, — подлинная лирика, «глубоко-пережитое чувство» (по выражению того же Маковского). А ведь даже благожелательный Брюсов, которому молодой Гумилев так преданно подражал, сетовал, что стихи его отстают от роста его души. Лишь в самых последних стихах так и не дожившего, по мнению многих, до подлинной зрелости Гумилева (причем в стихах об Анне, конечно) проявилось умение выразить поэтически свои чувства, свою боль. А его молодая жена с таких стихов начала, и слава сопровождала ее уже с первых шагов (достаточно сказать, что среди первых ее напечатанных, «аполлоновских», стихов был «Сероглазый король», которого твердили наизусть и пели по всей России, непременно исполнения которого, как рассказывает Вертинский, требовали от него даже в глухой бессарабской деревне).

Гумилев гордился успехами жены. Его жены. Не очень верится в то, что он был

всерьез «против ее писательства» и уж тем более мог запретить что-нибудь ей, своевольнице. Но ревность к такому успеху и такому мгновенному взлету он мог, без сомнения, испытывать. Если же он мог еще и догадываться, что не он, а другой сумел возжечь это пламя... Впрочем, если он и не догадывался, кто этот другой, то произошедшее следующей весной могло подсказать ему это с достаточной очевидностью. Равно как и дать ответ на новую его мольбу о любви и на его новые рассказы (устные и письменные, в стихах и прозе) о егоключениях и подвигах...

Древний я отрыл храм из-под песка,  
Именем моим названа река,

И в стране озер семь больших племен  
Слушались меня, чтити мой закон.

И тая в глазах злое торжество,  
Женщина в углу слушала его.

Ну да, женщина эта была не из тех, кто мог полюбить за подвиги и даже «за муки полюбить». Как утверждал один из первых (и самых почитаемых ею) критиков ее ранних стихов, она была сильной и она была беспощадной (уж он-то, Недоброво, на себе испытал эту ее беспощадность). Нет, конечно, не только сила и беспощадность в

них были, в этих стихах, но и нежность, и тоска по любви, и разочарование, и гордость, и унижение (которое паче гордости), и нетерпеливое ожидание, и нежелание примириться с невозможностью новой встречи, с тем, «что все потеряно», отказаться даже от надежды на счастье... Эти ее нетерпимость и ее страстное нетерпение, все это соединенье неистовых чувств объясняют, конечно, и странный ее, своевольный, дерзкий поступок: вскоре после возвращения Гумилева из Африки, в самый разгар первых своих, таких важных для нее, поэтических успехов Анна одна уезжает в Париж — к тому, чей голос так неотвязно звучал весь этот год у нее в душе и так ясно слышен в ее стихах... Она уезжает к Амедео Модильяни.

## Лето их любви

Она приехала в конце весны, перед самым началом парижского лета, и поселилась на левом берегу Сены, в старинном доме на улице Бонапарта, неподалеку от бульвара Сен-Жермен и близ площади Сен-Сюльпис с ее великолепным барочным собором и фонтаном. Интересно было бы узнать какие-нибудь бытовые подробности этой поездки — кто дал ей деньги на поездку, кто снял квартиру, — но, увы, узнать нам об этом негде. Поездку, скорей всего, оплатил Гумилев (он пошутил как-то, что Аннушке надо давать сто рублей на иголки), а квартиру мог подыскать и Модильяни — не слишком далеко от Монпарнаса, от улицы Вожирар и Сите Фальгьер, где у него была мастерская. Неизвестно, что узнал и что думал об этой поездке Гумилев, кого из русских (кроме госпожи Чулковой) видела Анна в Париже.

Встреча влюбленных была долгожданной. Амедео писал ей письма, она писала и стихи о нем. Стихи, впрочем, не могли всерьез предназначаться ему, это были русские стихи. Встреча была радостной. Может, именно поэтому, прочитав позднее о

тяжелом, необузданном нраве этого пропавшего гения с Монпарнаса, Ахматова написала (полвека спустя), что она «могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую)...». С другой стороны, она в любом случае должна была написать, что знала его «не таким» (поскольку, мол, она «просто была чужая»), ибо не могла же она, хотя бы и в молодости, знаться с веселыми, сильно пьющими монпарнасскими грешниками. В ту весеннюю парижскую пору она была уже приличной замужней дамой, а в пору написания мемуаров — почтенного возраста знаменитостью, во всем мире почитаемой поэтессой...

Впрочем, Бог с ними, с мемуарами. Перенесемся в 1911 год, когда вдали от Царского Села, Слепнева и Петербурга, наедине с любимым юная Анна думала и чувствовала по-другому: радость и грех пополам.

Мне с тобою пьяным весело —  
Смысла нет в твоих рассказах.  
Осень ранняя развесила  
Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную  
Забрели и горько каемся,  
Но зачем улыбкой странную  
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жальшей  
Вместо счастья безмятежного...  
Не покину я товарища  
И беспутного и нежного.

Стихи передают атмосферу бесшабашного вечернего шляния по ярко освещенным парижским кафе, легкого опьянения, влюбленности («первый раз одна с любимым»), разговоров захлеб на иностранном для обоих языке, да и на родных тоже... Он наверняка хмельно философствовал и читал ей, не знающей итальянского, любимого своего Леопарди — где уж тут добраться до «смысла»? (Она переводила стихи Леопарди позднее, через много-много десятилетий, но тогда, тем летом — где ж ей было их понять?) Она читала ему свои стихи — о нем, о них двоих... Он слушал магическую музыку русского стиха и оттого, может, не решался (после такой музыки!) признаться ей, что тоже пишет стихи.

Иногда, днем, он делал перерыв в работе, и они встречались в Люксембургском саду (каковой променад, один за свою пристойность, и был через полвека допущен ею в свой мемуарный очерк). Шел дождь. Укрывшись под его огромным старым зонтом, они сидели, тесно прижавшись друг к другу, на скамейке и «в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались», что помнят «одни и те же вещи».

Il pleure dans mon cœur  
Comme il pleut sur la ville;  
Quelle est cette langueur  
Qui pénètre mon cœur?



C'est bien la pire peine  
De ne savoir pourquoi  
Sans amour et sans haine  
Mon cœur a tant de peine!

Анна повторяла то же по-русски: брюсовский перевод, сделанный в ту пору, когда она была еще совсем маленькая:

Небо над городом плачет,  
Плачет и сердце мое.  
Что оно, что оно значит,  
Это унынье мое?

Как-то особенно больно  
Плакать в тиши ни о чем.  
Плачу, но плачу невольно,  
Плачу, не зная о чем.

И, конечно, перевод Иннокентия Анненского, чей «Кипарисовый ларец» перевернул когда-то всю ее жизнь:

Сердце исходит слезами,  
Словно холодная туча...  
Сковано тяжкими снами,  
Сердце исходит слезами

Разве не хуже мучений  
Эта тоска без названья?  
Жить без борьбы и влечений  
Разве не хуже мучений?

Дождь барабанил по черному зонту, покрывал пузырьками бассейн у Большого

дворца, построенного в стиле родной Амедеевой Тосканы, где сейчас наверняка солнце сияет на флорентийских куполах, на синей глади Средиземного моря, — солнце, всегда солнце, как в незабываемом Крыму ее детства. Строки, написанные старшими учителями Гумилева, навевали тоску и тревогу, от которой не спасало тепло его плеча... А он, вслушиваясь в безупречные ритмы, с отчаяньем думал о стене, отделяющей художника от вождя самовыраженья, и с нежностью — об этой таинственной женщине, как и он, безутешно ищущей совершенства, во всем...

Когда проглядывало июньское солнце, было так же хорошо в саду, но не так грустно. Он вытаскивал томик Лотреамона, который вечно в ту пору таскал в кармане, и с мальчишеской злою усмешкой зачитывал дерзкие суждения этого лихого предтечи сюрреалистов, жившего в Париже за столетия до них и так же, как они, презиравшего («Вон, Анна, смотри, — вышагивает с орденской ленточкой и в цилиндре, в сюртуке, ну да, этот — Анри де Ренье...») и фарисеев и буржуа:

«Вон, поглядите, там, среди цветов и кустарников, спит крепким сном на газоне, усыпленный рыданиями — гермафродит. Луна, из завала туч свой выбарахтав круг, бледным лучом ласкает лик этот нежный

подростка. Черты его нам являют верх мужской энергии, но и нежную ласку божественной девы тоже...»

Или это:

«Я союз заключил с проститутками, чтобы смуту посеять в семьях. Помню ночь накануне вступления в эту опасную связь. Я увидел перед собою надгробье. Я услышал, как светлячок, что был громаден, как дом, мне сказал: «Прочти эту надпись. Я тебе посвечу. Ты увидишь, что это не я учредил этот высший порядок...»

В могиле был юноша, убитый болезнью за то, что не молился усердно».

— Что ж, может, это был я, Анна? А вот и еще, послушай:

«Сена влечет на волнах человеческий труп. В этих случаях поступь ее так степенна. Труп раздутый не тонет; вот он скрылся под аркой моста; но вот появляется снова, медленно поворачиваясь, точно мельничное колесо...»

Или это вот:

«Я видел на протяжении всей своей жизни, как эти узкоплечие люди совершали глупости без числа, изнурая подобных себе и развращая их души. И единственный двигатель их был, говорили они: сла-

ва. При виде этого зрелища я хотел рассмеяться, как все остальные; но акция странного подражания — она мне не удалась...»

— И еще, вот еще, ты послушай, Анна... Тебе что, надоело? Правда?

Он так странно, так не по-французски говорит это свое «надоело», «правда»...

— Нет, конечно, читай, читай...

«Красный фонарь, этот штандарт порока, прицепленный к треугольному кронштейну, раскачивал свой скелет по воле всех ветров над массивной, но червями источенной дверью. Грязный коридор...»

— Нет, не это... — сказала она.

Он улыбнулся. Сказал:

— Нет, не это... Вот:

«Что за тень отпечатал с небывалою четкостью на стене моей комнаты этот фантастический сгорбленный силуэт? Когда я терзаю сердце свое этим вечным вопросом, мучительным и безмолвным, не величия формы ищу я, а реальности и трезвости стиля... Блондинки...»

— Ты будешь ночевать у меня, — сказала она, — и ничего не будет на стене — ни блондинки из Мальдорора, ни портрета брюнетки...

Она хотела сказать что-нибудь снисхо-

дительно-шутливое про вечные эти поиски стиля и натуры, но она знала, что неизменный синий блокнот будет с ним и тогда, когда он придет к ней ночью на улицу Бонапарта. Знала, что он будет снова ее рисовать — и при отблесках лампы, ночью, и под утро, утомленный и умиленный. Она позировала послушно, и надевала тяжелые африканские бусы, и заламывала руки над головой, оправляя прическу и замирая в неподвижности с затекшими руками, и даже вставала в поразившую его (но хорошо знакомую уже и посетителям ивановской «башни», и свите Гумилева из слепневской округи) позу «женщины-змеи»<sup>1</sup>.

Но ведь и она — и ожидая свиданья весь год, и подчиняясь ему, и отдаваясь ему, и его подчиняя, — она тоже ведь ни на минуту не забывала о том, что за все, что случается с ней отныне, за все, что происходит вокруг и происходит в душе, за каждый вздох грусти и всхлип восторга она в ответе перед этим жестоким божеством, перед собственным ее искусством, перед русским словом, которому она служит... Именно так понимали они тогда служенье Искусству, заменившее им служение

<sup>1</sup> Автор этих строк в альбоме репродукций опознал недавно и в модильяниевской «акробатке» и в модильяниевской «трапезистке» любимую свою русскую поэтессу.

Богу. Все, что происходит с ней и в ней, потом должно будет вылиться в стихи — и эта комната с узкими окнами и французской надписью у нее над головой (попробуй не читай, хотя бы и в минуту страсти, когда надпись всегда над тобой и так часто выражает твою мысль — «Смилуйся над нами, Господь»); комната с северскими статуэтками на комод, комната в старинном доме на улице Бонапарта; и эти долгие часы сидения в неудобной, но так понравившейся ему позе; и новое ожидание после того, как она прождала весь вечер, чтобы его наконец обнять (но ведь «он так хотел, он так велел», чтоб она замерла в неподвижности). Она, конечно, понимала уже, что и он не свободен тоже, что он раб своего дара, что он в поиске, в муках — совсем как бедный ее Коля, — в поисках того, что ей — о, счастье! — дается пока так легко... Как, скажем, эти стихи, которые она с такой откровенностью назвала «Надписью на неоконченном портрете»:

Взлетевших рук излом больной,  
В глазах улыбка иступленья,  
Я не могла бы стать иной  
Пред горьким часом наслажденья.

Он так хотел, он так велел  
Словами мертвыми и злыми.  
Мой рот тревожно заалел.  
И щеки стали снеговыми...

Для Амедео, как и для обожаемого им Данте, эта бледность была и цветом любви, и цветом страсти, и цветом благочестия. С волнением глядя на эту вдруг углубившуюся бледность ее и без того мраморного лица, Амедео читал любимые строки:

Color d'amore e di pietà sembranti  
Non preser mai così mirabilmente  
Viso di donna...

Цвет любви, благочестия цвету подобный,  
Преображал ли когда-нибудь  
Девичий лик так чудесно...

— Цвет любви и цвет благочестия... — повторяла Анна. — Все понимаю... Они думают, что у них трудный язык... Но почему он так смотрит в глаза? Все время ищет в них что-то, в моих глазах? Он всем так заглядывает в глаза?..

Он вдруг встал, отложил блокнот, и лицо ее снова залила снеговая бледность волнения...

Она знала, как быстро он меняется, как из неистового и злого становится разнеженным, добрым. Она заметила, что и портреты отражают эти его перемены — они бывают вечерние, ночные, утренние. Они были неистовы, откровенно и бесстыдно чувственны. Она научилась распознавать на его женских портретах неудовлетворенную страсть или усталость тела, и она ревнова-

ла его к этим женщинам на портретах. Если б он знал, как она ревнива, он, может, не стал бы ей показывать все эти портреты. Но, может, портреты были для него важнее ее ревности, важнее ее любви, важнее всего на свете. Может, это все-таки живопись или скульптура задерживали его порой так поздно по вечерам — хотелось думать, что именно работа, а не все эти женщины с портретов, которые так охотно, с таким скромным и постным видом ему позировали. И, вероятно, тоже бледнели от волнения, от желанья... По вечерам она ждала его, чтобы открыть ему входную дверь. «Чтобы не разбудить консьержку», — оправдывала эти ночные часы ожидания. Часы ожидания у окна, выходящего на сонную улицу Бонапарта, были и сладкими и мучительными... Через полвека ей очень хотелось хотя бы упомянуть о них в лукавом своем мемуарном очерке, но так, чтобы, упаси Боже, никаких намеков на интимность, на то, что он приходил к ней ночами (умный поймет и сам, *Sapienti Sat*). Она написала и загадочно и романтично:

«Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами».

Вот и все. Остальное так легко додумать, увидеть... Вот она подходит к окну,



потом, увидев его внизу, бросается к двери, торопливо спускается по лестнице, отпирает дверь, стараясь не слишком греметь шеколдой... Ночь принадлежала им, и никто и ничто не должно было им мешать, никакие угрызения совести, никакие воспоминанья. Казалось, что даже небо было с ней заодно...

Благослови же небеса —  
Ты первый раз одна с любимым.

Иногда вечер тянулся бесконечно долго, сумерки не приходили. Но вот наконец

...блестящих севрских статуэток  
Померкли глянцевитые плащи.

Последний луч, и желтый и тяжелый.  
Застыл в букете ярких георгин...

Иногда Амедео не приходил вовсе. Как в тот раз, когда ему (так он сказал) не работалось. Он ронял эти «мертвые и злые» слова, а она на всю ночь осталась одна в чужой комнате, где «так душно пахнет старое саше», в чужом городе, обмирала от тоски, и ревности, и сомнений, и угрызений совести, виня одну себя, одну только себя:

И нет греха в его вине,  
Ушел, глядит в глаза другие,  
Но ничего не снится мне  
В моей предсмертной летаргии.

Она знала, что он работает. Но кто сидит сейчас напротив него? Кому он смотрит в глаза? Он ведь сам говорил, что ему нужно человеческое существо, чтобы начать работу. Что он не терпит абстракции, которая иссушает и убивает душу. Так в чьи же глаза он смотрит сейчас?

Иногда и она пыталась освободиться от этого наваждения, сбежать от него — в другой Париж. Через много-много лет она рассказала молодым друзьям про какой-то парижский ужин в компании «авиаторов», летчиков. Было жарко, она сняла под столом туфли, а потом, когда стала обуваться, обнаружила в одной туфле карточку знаменитого Блерио, самого Блерио. Вероятно, знаменитый летчик назначал ей свидание. И вероятно, она пошла на это свидание, потому что вспомнила однажды, через полвека (а добросовестный А. Найман записал это ее воспоминание), как она гуляла по парку с каким-то французским генералом. И было ей с ним, вероятно, довольно скучно, потому что в ее очерке о Модильяни есть такие странные (к Модильяни вряд ли имеющие касательство) строки:

«Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?)».

Кто из них двоих был разочарован? О

ком этот странный, лукавый рассказ — или о чем?

Анна приходила к нему в мастерскую (об этом упоминается и в мемуарах, но в них она, на всякий случай, его «не застала»)… Осторожно заглядывала в двери — один ли… Один… Иногда он бывал рад ее приходу и садился писать ее портрет. И вот уже она (но и не она тоже, другая уже — это как в стихотворенье, и ты и не ты)

...на сером полотне.

Возникла странно и неясно.

Он шалел от ее линий — от удлиненного ее тела, от длинной ее шеи. И снова она демонстрировала свою гибкость… Она поднимала ногу за спиной и цеплялась ею за собственную шею («Так, так, еще минутку, не двигайся… Ун аттимо…»); Она висела на балке потолка, как на трапеции (а он рисовал, конечно, весь этот цирк). Он называл ее то циркачкой, то канатной плясуньей…

Они гуляли по Парижу, который он знал так хорошо. По улочкам, окружавшим лицей Генриха IV, и по улице Турнон, что за Пантеоном («Смотри, в этом вот доме жил Джакомо Казанова…»), выходили к Люксембургскому саду, где среди темной листвы белели статуи всех этих знаменитых женщин — королев и писательниц… Анна вы-

бирала самую стройную из статуй и вслух читала надпись на мраморе: «Анна Гумилева». Он поправлял ее: «Анна Австрийская». Боже, как редко он шутит...

Иногда он рассказывал ей истории про своих знакомых. Выходило, что все они просто замечательные люди. Например, хозяйка их «Розовой виллы» в Сите Фальгьер, где его ателье. Анна вспоминала, как злобно косится на нее эта старуха, но Амедео начинал доказывать, что это замечательная женщина — воистину бальзаковская героиня. Она дотошно записывает в свою книгу малейшие долги, но ей не приходит в голову с тебя их требовать. Настоящая меценатка... А Сутин, ты видела, какое у него лицо? Анна говорила со смехом, что давно не видела подобных уродов, и Амедео начинал доказывать, что у этого Шаима замечательное лицо — вот он, Амедео, напишет его портрет, и тогда все поймут, что этот русский красив, потому что он гений... Вот можно сейчас пойти в «Улей»... Нет, она не хотела идти в «Улей». Там было слишком много русских. Среди них могли оказаться их общие с Гумилевым знакомые. И потом она вовсе не хотела снова видеть этого сумасшедшего Хаима. Амедео угостит его вином, они начнут пить и быстро ее обгонят...

Она не могла понять, на что он живет. Он казался ей очень бедным по сравнению

с ее петербургскими друзьями. Она знала, что он презирает буржуа, и не заговаривала с ним о деньгах. Она тоже презирала буржуа, но чтобы такая бедность... Он пытался объяснить ей, как он рассчитывает выжить, но объяснения его звучали неубедительно. Он говорил, что художник должен зарабатывать своим трудом, как все остальные. С другой стороны, он не уверен был, что художник должен расставаться с любимыми картинами. А нелюбимые он уничтожал беспощадно. У него был пока один постоянный покупатель — доктор Поль Александр. Доктору не стыдно продать картину. Он понимает живопись. Но доктор небогат...

Анна вспоминала, что приличные люди брали в Люксембургском саду железные стулья. Они с Гумилевым брали когда-то такие стулья, это совсем недорого. С Амедео они сидели на бесплатной скамейке. Значит, у него даже на стулья денег не было. С другой стороны, стул ему был бы удобен... Он ведь взбирался на скамейку с ногами, клал голову Анне на колени...

Иногда у него появлялись ненадолго какие-то деньги, и тогда он был безудержно щедр. Они слонялись по кафе, брали экипаж и ехали в Булонский лес («И словно тушью нарисован / В альбоме старом Булонский лес») или в парк Бют-Шомон. Во время такой прогулки она и поломала

страусово перо (то самое, которое видела на ее парижской шляпе госпожа Чулкова).

Анна любила, когда Амедео заходил за ней, чтобы вместе пойти на прогулку. Она выбегала, радостная, слышав его шаги, одолевая зараз три ступеньки от двери до тротуара:

Он мне открывает объятия  
Под кленом, таинственный граф.

Она любила, когда они забредали в какой-нибудь небольшой парк, где музыканты сидели на круглой эстраде и где становилось так невыразимо весело или так невыразимо грустно от вечерней музыки — и так бывало и этак, все зависело от него, от нее, от мыслей о предстоящей разлуке, о которой с каждым убегающим днем она думала все чаще.

Звенела музыка в саду  
Таким невыразимым горем.  
Свежо и остро пахли морем  
На блюде устрицы во льду...

(О, глаз поэта, обонянье поэта, память поэта — всегда, в самые страшные минуты жизни они все примечают, чтоб потом воссоздать, возродить, передать, отдать без остатка...)

И еще было хмельное, безудержное веселье этого бездумного парижского празд-

ника (Бастилия! При чем тут Бастилия?), и гомон толпы, и танцы на улице, и взрывы петард, и шум, долетавший с площади в ее комнату на улице Бонапарта, куда они пришли после гулянья.

Потом было прощание, последняя их прогулка, последнее кафе, последний парк, последняя ночь... Она услышала его шаги, она сбежала вниз — как всегда, — но все было пронзительнее и грустнее, чем всегда, может, оба знали, что не увидятся больше. Той осенью, в Царском Селе, она написала «Песню последней встречи», которая сразу стала одним из самых модных и знаменитых в России стихотворений, таким знаменитым и таким модным, что стареющая Анна возненавидела его к концу жизни, ревнуя к этой былой славе и даже сочтя ее позднее незаслуженной. Там все было, в этом раннем стихотворенье, хранящем боль прощания, — и эти ступеньки от двери до тротуара, и эти клены на улице Бонапарта, и мертвящее горе разлуки, и роковые предчувствия...

Так беспомощно грудь холодела,  
Но шаги мои были легки.  
Я на правую руку надела  
Перчатку с левой руки.

Показалось, что много ступеней,  
А я знала — их только три!  
Между кленов шепот осенний  
Попросил: «Со мною умри!

Я обманут моей унылой,  
Переменчивой, злой судьбой».  
Я ответила: «Милый, милый!  
И я тоже. Умру с тобой...»

Это песня последней встречи.  
Я взглянула на темный дом.  
Только в спальне горели свечи  
Равнодушно-желтым огнем.

А потом были слезы, и был, похоже, тяжкий разговор на вокзале — она замучила его, истерзала, и он ушел. Она сама сказала, чтобы он уходил, — она вдруг поняла, что это конец... так, во всяком случае, рассказывает малоизвестное стихотворение: она осталась одна в этом полукруглом зале, где пол был засыпан опилками и где старик, похожий на барана, с такой важностью читал «Фигаро», точно это была Библия...

Да лучше б я повесилась вчера  
Или под поезд бросилась сегодня...



# Неотвязный Париж

«В 1911 году я приехала в Слепнево прямо из Парижа, — вспоминала Анна полвека спустя, — и горбатая прислужница в дамской комнате на вокзале в Бежецке, которая веками знала всех в Слепневе, отказалась признать меня барыней и сказала кому-то: "К Слепневским господам хранцуженка приехала"..."»

Ей врезалось это в память, потому что так точно совпадало с тогдашней ее отчужденностью (ну да, она нездешняя, она парижанка), с ее настроением: мыслями она была еще с ним, еще там, в Париже, и Слепнево одно могло дать ей сейчас свободу и одиночество. А ей надо было побыть одной, наедине со своими воспоминаниями, со своими ожиданиями (Чего она ждала? Ждала, что придет обещанное письмо? Что распахнется дверь и на пороге мелькнет его плащ, которым они укрылись однажды от дождя, его широкополая шляпа?)... Главное же, что ей никак нельзя было сейчас оставаться с глазу на глаз с Гумилевым. Страх перед этой встречей (страх и

стыд) истерзал ее еще в пути от Парижа до Петербурга. Она написала тогда:

Я и плакала и каялась,  
Хоть бы с неба грянул гром!  
Сердце темное измаялось  
В нежилом доме твоём.  
Боль я знаю нестерпимую,  
Стыд обратного пути...  
Страшно, страшно к нелюбимому,  
Страшно к тихому войти...

Она знала, что Николай ждет ее, что он уже простил ей заранее своевольную эту поездку, и это его ожидание, его не погибшая еще надежда на то, что «все образуется», — они были особенно страшны. Приходилось скрывать свой Париж (все, что с ней было в Париже), скрывать, шадя его... И вот нарядная, пахнущая чем-то «чужедальним», она склоняется над ним, поверженным, «тихим» (ах, лучше бы он бушевал, лучше бы все раскрылось), для сестринского, безлюбовного поцелуя...

А склонюсь к нему нарядная,  
Ожерельями звеня, —  
Только спросит: «Ненаглядная!  
Где молилась за меня?»

Про тогдашние ожерелья, пунктиром обозначенные на рисунках Модильяни, она упоминала и в поздней прозе, а вот в последних двух строках какая-то их тайна

или семейная шутка. Может, убегая из дома, она сказала ему когда-нибудь, что идет помолиться за него... Ну да, можно и сейчас еще отшутиться, главное, чтоб он ничего не знал наверняка. И чтоб не оставаться с ним сейчас наедине... У него дела в городе, пусть остается, пусть, а она поедет писать...

Там в ее комнате висела большая икона — Христос в темнице. А над диваном — «небольшой портрет Николая I не как у снобов в Петербурге — почти как экзотика, а просто, серьезно по-Онегински («Царей портреты на стене»)...

Она не водила компании с дачниками, с девицами и дамами, иные из которых были явно равнодушны к ее мужу. (А иные? Узнала ли когда-нибудь Анна, какие подвиги написаны были на роду одной из этих дам — Елизавете Кузьминой-Караваевой, будущей матери Марии, каким был ее мученический конец в немецком лагере?)

Анна бродила по садам, мечтала о своем, о тайном, и писала стихи, убеждаясь с каждым днем, что Слепнево позволяет ей оставаться свободной и обретать все большую свободу («как арка в архитектуре»).

«Я не каталась верхом и не играла в теннис, а я только собирала грибы в обоих слепневских садах, а за плечами еще пылал Париж в каком-то последнем закате...»

Она вернется в Париж только через пол-

столетия... И каких полстолетия! Модильяни к тому времени уже четыре десятилетия как не будет в живых... Но в то лето 1911-го, и в ту первую осень, и потом еще зимой и весной, под Петербургом, — он был все время рядом с нею, он был ошутимей, чем все, кто ее окружали... Он должен был дать ей о себе весть, написать, приехать, и эта влюбленность в него, «дальнего», эта ее тайна, это ее ожидание были благотворны для стихов (о Боже, как многим оказалась обязана наша русская поэзия этому трагическому бедолаге-«монпарно», обреченному «тосканскому принцу» из Ливорно!).

Взгляд ее скользил сейчас поверх трогательных тверских пейзажей, высматривая что-то вдаль («пристяжная косила глазом»), но стихам это не вредило, это не мешало ей вглядываться в себя (то самое, чего так часто не хватает увлеченным путешественникам, — ее бедный муж, да и смиренный автор этих строк, увы, из их числа). Впрочем, слово Anne, вспоминаяшей Слепнево той осени:

«...Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею. Стихи шли легкой свободной поступью. Я ждала письма, которое так и не пришло — никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну...»

Об этом ожидании, об этом письме и о том, кто должен был прислать его, и были ее тогдашние стихи (напечатанные вскоре в петербургских журналах, вошедшие в первую ее книгу и принесшие ей знаменитость).

Сегодня мне письма не принесли:  
Забыл он написать, или уехал;  
Весна как трель серебряного смеха,  
Качаются в заливе корабли.  
Сегодня мне письма не принесли...

Он был со мной еще совсем недавно,  
Такой влюбленный, ласковый и мой...

Он был со мной еще совсем недавно...

А дальше — конспиративная игра во времена года, как в том «парижском» стихотворении, где «осень ранняя» уже развесила свои флаги на деревьях в конце июня:

Но это было белою зимой,  
Теперь весна, и грусть весны отравна...

Стихотворение это (без даты) пронизано пронзительной тоской по тому, кто «забыл... написать, или уехал»:

И страшно мне, что сердце разорвется,  
Не допишу я этих нежных строк...

Оно и правда не было дописано, это нежное стихотворение, и при жизни Ахма-

товой напечатано было только один раз. И было еще много-много других, написанных той осенью и зимой, сперва в Слепневе, а потом в Царском Селе. В них тоска и ревность героини — то девушки-крестьянки, то галантной дамы на маскараде, которую ждет под кленом (все под тем же кленом близ фонаря на улице Бонапарта) «таинственный граф», то маркизы, которой принц сломал перо на шляпе (по более поздней версии, оно задело о верх экипажа на прогулке в Булонском лесу, то самое белое страусовое перо, что Гумилев привез ей из Африки), то Алисы или Пьеретты, словно сошедших с сомовских фантазий на темы галантного века... И везде Он — о Его появлении узнаешь по плащу (иногда это «плащ и посошок»), по темным локонам, по ее неотвязной теперешней «любовной пытке», по ревности, которую так легко пробуждает в ней мысль о других, о другой.

Но не хочу, не хочу, не хочу  
Знать, как целуют другую.

Она приняла за Него муку, она изменила мужу, а Он, изменщик, о ней забыл... Похоже, порой ей легче было перевоплотиться в этих стихах в молодую замужнюю крестьянку, чем в легкомысленную графиню... К тому же крестьянки были тут, в Слепневе, повсюду, и порой Анне казалось, что

они смотрят ей вслед, о чем-то догадываясь и ее осуждая:

...те неяркие просторы.  
Где даже голос ветра слаб.  
И осуждающие взоры  
Спокойных, загорелых баб.

И вот она уже воображает себя провинившейся бабой, которую муж наказывает за измену:

Муж хлестал меня узорчатым.  
Вдвое сложенным ремнем...

Она страдает из-за «далекого», а он не пишет, он с ней «опять побыть не мог».

Для тебя я долю хмурую.  
Долю-муку приняла.  
Или любишь белокурую,  
Или рыжая мила?

Для человека, живущего воображеньем, словом, мыслью, разлука безмерно обостряет любовное чувство (Анна ведь и Гумилева умела любить больше, когда он был вдали).

А что же все-таки Гумилев? Видимо, он приезжал в Слепнево, и была новая (для нее и вовсе уж несвоевременная) попытка их примирения, смирения. Не об этом ли эти исполненные беспощадной злости и отчаянья строки?

Под навесом темной риги жарко,  
Я смеюсь, а в сердце злобно глачу.  
Старый друг бормочет мне: «Не каркай!  
Мы ль не встретим на пути удачу!»

Но я другу старому не верю.  
Он смешной, незрячий и убогий,  
Он всю жизнь свою шагами мерил  
Длинные и скучные дороги...

Анна постаралась скрыть от мужа то, что произошло с ней в Париже, уничтожить все следы, все подарки. Нет, не чепчик какой-нибудь, который приятно было вспомнить и через полвека («я носила тогда чепчик из тонких кружев»), но прежде всего рисунки, модильяниевские «ню», которые он ей дарил. «Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате», — вспоминала она через столетия. И добавляла лукаво: «Они погибли...» Уцелел лишь один — в высшей степени пристойный. Где-то она его тоже прятала. Остальные просто нельзя было никому показывать, эти рисунки-улики, что в стихотворении (по созвучью?) превращаются в гвоздики, которые тоже негде спрятать:

И дал мне три гвоздики,  
Не подымая глаз.  
О милые улики,  
Куда мне спрятать вас?

Куда спрятать? А может, даже уничтожить? Где они нынче, эти бесценные «ули-



ки» великой любви нашего века? Может, она вовсе и не везла их в Россию, те пятнадцать откровенных, предательских «ню», которые «пропали»? Может, она оставила их во Франции?

Так или иначе, от улик она избавилась. Но не от подозрений. В своем мемуарном очерке Ахматова относит свой первый разговор с Гумилевым о Модильяни к 1918 году (год развода с Гумилевым) и утверждает, что разговор этот был единственным: «Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 года) и я упомянула имя Модильяни, назвал его “пьяным чудовищем”...»

Дальше идет довольно неубедительное описание какого-то столкновения («Модильяни протестовал») между соперниками и, наконец, примиряющая (их обоих в смерти и славе примиряющая) концовка: «А жить им обоим оставалось примерно по три года, и обоих ждала громкая посмертная слава».

Скрытность мемуаристики в данном случае легко объяснима. Гумилев известен был ко времени написания ее мемуаров (да и задолго до этого) как один из первых российских мучеников Большого Террора. (Даже в сознании тех, кто верил еще, что лысый палач был, в отличие от «рыжего мясника», гуманистом, убийство поэта не укладывалось — им пришлось придумать легенду о

ленинской телеграмме, которая, как всегда, опоздала, — это уж теперь архивы раскрыли, что все ленинские телеграммы и «записочки» требовали всегда кровавой беспощадности и ужесточения слепого террора.) Признаться, что ее первому мужу пришлось при жизни страдать еще и по этому поводу, Анна Андреевна просто не могла, и ее можно понять. А между тем в 1925 году она поведала симпатичному студенту Паше Лукницкому, который намерен был писать книгу про Гумилева, а пока что записывал впрок всякие свидетельства о нем, довольно странную историю. Вот эта запись Лукницкого с аккуратно помеченной датой: «24.IX.25. По возвращении из Парижа АА подарила Н. С. книжку Готье. Входит в комнату — он белый сидит, склонив голову. Дает ей письмо... Письмо это прислал АА один итальянский художник, с которым у АА ничего решительно не было. Но письмо было страшным символом... Последняя фраза была такая... ссора между ними — и по какому пустяшному поводу — ссора, вызванная этим художником». Как видите, ничего близкого к правде рассказать (не вызвав при этом горестных сожалений у окружающих) нельзя было уже и в 1925 году (Ахматова была тогда в третьем браке).

Запись молодого Лукницкого, видимо, сделана была позднее, дома; она, скорее все-

го, не слишком точная, да и рассказ-то ведь был, как говорится, «для печати». Рассказ про какое-то, мы должны понимать, старое письмо, лежавшее в томике Готье и попавшее в руки Гумилеву... Но в томик Готье, обожаемого и без конца читаемого Гумилевым, Анна никогда не положила бы своих тайных писем, да еще перед тем, как дарить книгу мужу. Тем более по возвращении. О чем тут вообще идет речь, в этом рассказе? Может, все-таки о письме, которого она ждала по возвращении так нетерпеливо? И вот оно пришло в конце концов и попало в руки Гумилеву... В нем был, по ее словам, какой-то «страшный символ»... И все открылось. И был скандал... А в поезде, в 1918-м, когда они снова стали выяснять отношения — это было уже в пору их развода (которого, по ее словам, она потребовала)... Во всяком случае, фразу «Только один раз...» из ахматовского очерка о Модильяни вряд ли мы можем принимать на веру...

После переезда в Царское Село у молодой поэтессы (чьи журнальные публикации вызвали благожелательные отзывы знатоков и корифеев) появляются новые вздыхатели и поклонники («новые плащи»). Однако она не исцелилась еще от своего парижского любовного недуга, о чем свидетельствуют и новые ее стихи — опять об ожидании «дальней вести», о «дальнем», ко-

торый «смеет быть не печальным» после разлуки с ней (а ведь клялся с ней умереть), о новой его «светлоокой нежной» птице, которая небось поет над ним, о своей ворожке («чтоб царевичу присниться»).

И томное сердце слышит  
Тайную весть о дальнем.  
Я знаю: он жив, он дышит,  
Он смеет быть не печальным.

Ее ночи все еще страшны, оттого что она снова и снова видит его глаза во сне. И снова этот старый плащ...

Всем этим стихам, посвященным тосканцу с Монпарнаса, суждено было вскоре после их написания стать, по словам одних критиков, символом, а по словам других — даже знаменем женской любовной лирики в России. Во всяком случае, стать неслышанно знаменитыми. Амедео, конечно, так и не узнал об этом. Но ведь и Анна уже не узнает, что вышли сегодня на свет Божий утаенные ею рисунки, которые и рассказали нам без умолчаний и стыдливости об их горячей молодой любви.

Впрочем, вернемся в 1912 год... Героям нашим еще далеко до конца жизни, они только на подходе к успеху, славе и новой муке. И Анна еще заклинает по-прежнему эту свою любовь, хотя уже и винится заранее:

Обману ли его, обману ли? — Не знаю!  
Только ложью живу на земле.

Ей все еще не хватает его, одного его  
не хватает в обступающей ее все плотнее  
толпе восторженных поклонников...

Меня покинул в новолуние  
Мой друг любимый. Ну так что ж!  
Шутил: «Канатная плясунья!  
Как ты до мая доживешь?»

Ему ответила, как брату,  
Я, не ревнуя, не рогща,  
Но не заменят мне утрату  
Четыре новые плаща.

.....  
Оркестр веселое играет,  
И улыбаются уста.  
Но сердце знает, сердце знает,  
Что ложа пятая пуста!

Недолго ей оставалось пустовать, этой  
ложе, но пока... Пока на дворе стоит но-  
ябрь мирного 1912 года.

## Амедео без Анны

**А**нна еще при встрече с ним в июне 1911-го заметила, как сильно он изменился за год — осунулся и словно бы потемнел. Увидев его вскоре после отъезда Ахматовой, в августе того же года, тетка Лора Гарсен пришла в ужас — так плохо он выглядел. Тетка подыскала для отдыха виллу в Ипорте, в низовьях Сены, близ Фекампа, и послала любимому племяннику Дэдо деньги на проезд. Что-то задержало его в Париже, а деньги, конечно, разошлись. Тетка послала ему деньги снова и вскоре узнала с отчаяньем, что он мгновенно истратил и эти деньги тоже. Любящая тетка не унималась и снова послала ему деньги на дорогу. Наконец к вилле Андре подъехала открытая машина, а в ней — промокший до нитки Дэдо (с его-то легкими!). К тому же он не хотел вылезать из такси, а хотел, чтобы их немедленно (под проливным дождем) в той же машине отвезли в Фекамп, пока еще есть деньги: ему говорили, что вид там на море великолепный...

«Нет, этому парню просто невозможно

помочь», — писала огорченная Лора в письме приятелю. И это правда, ему никто не мог помочь — он точно намерен был сжечь как можно скорей свою жизнь, возложив ее на алтарь безжалостного, но, похоже, единственного почитаемого в его кругу божества — Искусства. Он и трудился иступленно, как монах, вставая с рассветом и до изнеможения стуча по жесткому камню. У последних его скульптурных портретов было Ее лицо, Ее челка, Ее глаза... Ее оставшиеся портреты (сколько их было?) ушли к доктору Полю Александру. Когда Модильяни пополнял за скромную плату коллекцию первого своего собирателя, у него не было впечатления, что он теряет что-либо, что он «торгует искусством». Знал ли симпатичный доктор, кто эта гибкая молодая женщина с пучком темных волос на затылке и своеобразным, неповторимым профилем? Сомнительно, чтобы он даже спрашивал об этом... Позднее беспорядочно разбросанное наследие — и беспорядочная жизнь — пропавшего монпарнассского гения сделали трудным «окончательное решение проблемы хронологической атрибуции» этого наследия. На это сетовала круглая сыздетства сирота, дочь Амедео Жанна Модильяни, искусствоведка и биограф знаменитого своего отца, посвятившая этой самой «атрибуции» (атрибутированию) его произведений немало уси-

лий и безнадежно увязшая в его парижских адресах, женских именах и монпарнасских легендах о «пропавшем тосканском гении», «сыне банкира» и «правнучке Спинозы», истинном сыне монпарнасской довоенной богемы, убившем себя во славу «настоящего искусства» вином, гашишем и голодом («Противоречивый характер биографических сведений предоставляет, увы, простор для всяческих выдумок и фантазий», — сетует сирота)... Да что там легенды! Что красивые выдумки и душешипательные фантазии! И документы, и письма, и самые что ни на есть достоверные свидетельства об этой жизни не менее драматичны, чем легенды. На предпоследней странице написанной самою Жанною отцовской биографии микроскопическими буквами (в сноске) сообщается, что через год после гибели ее, Жанниной, матери умерла в Париже юная канадская студентка Симона Тиру, позировавшая многим художникам на Монпарнасе и оставившая после себя сына, приходившегося Жанне Модильяни единокровным братишкой... Предоставлю, впрочем, слово самой Жанне Модильяни: «После смерти матери ребенок этот был усыновлен какой-то французской семьей, и вот через несколько лет после этого женщина, которая хлопотала об усыновлении (мадам Сандаль), получила по почте — без всякой записочки и обратного адреса —



фотографию мальчика, поразительно похожего на Модильяни. Мадам Сандаль, единственная, кому была известна фамилия семьи, усыновившей мальчика, давно уже умерла. Врач и мадам Диркс, хорошо знавшие Симону, сохранили о ней воспоминания как об очень доброй и чистой молодой женщине. Единственное ее письмо, попавшее в мои руки, трогает своим бескорыстным смирением».

Так, может, он еще и сегодня жив, сын Амедео Модильяни?

«А море плещет, дали затая,  
В которых бродят наши сыновья...» —  
пел когда-то мой крымский друг, лихой  
красавец Влад Чеботарев...

Это все к вопросу о трудностях «атрибуции». Переводя же это музейно-искусствоведческое заграничное слово на язык родных осин, мы получим весьма интересное (и, говорят, даже оплачиваемое) занятие, при котором знаток искусств, глядя на картину (и в книги — ему и книги в руки), определяет, кто, где, когда (и в каком, так сказать, художественном русле) и по какому поводу (при каких обстоятельствах) это произведение создал. А то, чем мы нынче с Вами сейчас занимаемся, мой верный читатель (может, тоже не украшенный ученой степенью и, подобно мне, напяливший на нос очки), вполне бескорыстно, и называ-

ется «атрибуцией». Глядим мы с Вами на рисунки в альбомах Модильяни и говорим: «А-а, так это же Анна Андреевна нарисована тут в купальнике или вовсе ни в чем, Аннушка Горенко-Гумилева, гордость нашей поэзии, вон и поза ее любимая, до чего ж хороша она была, ласковый Боже... А дата тут у Вас проставлена стрёмная — это, господа издатели, 1911 год, мы вам даже точнее скажем: это июнь-июль 1911-го. Про это у нее даже стихи есть, знаменитые, между прочим, стихи... Ах, Вы не читаете по-русски... Тогда пардон! Миль пардон! Где ж Вам было тогда совершить какую ни то атрибуцию?»

Итак, при отсутствии точной атрибуции нелегко нам установить, что писал и что ваял из камня Модильяни в 1912 и 1913 годах, но работал он непрерывно. Позднее, когда на рынке стали особенно цениться его портреты, написанные после 1916 года, торговцы все вещи и датировали его поздними годами, а между тем...

К лету 1912 года он был так изможден работой, болезнью, вином и наркотиками, что друзья (после того как Ортис де Зарате нашел его как-то лежащим в обмороке на полу мастерской) собрали ему деньги на поездку в Италию, домой, в Ливорно. Земляки нашли, что он сильно изменился, стал неузнаваемым, странным. Он без конца показывал им фотографии своих скульптур

(которые мало кому в Ливорно пришлось по душе), говорил об африканском художественном гении. Он попробовал работать близ Каррары, но мрамор показался ему удмирительно неподатлив. Итальянское солнце раздражало его и слепило после привычного парижского... Он не знал, что навсегда прощается с «милой Италией» и нежной своей матушкой...

Вскоре, нагруженный стопками книг (Петрарка, Данте, Бодлер, Ронсар, Малларме, Потреамон...), он вернулся в Сите Фальгьер, где соседом его уже был в то время гениальный местечковый неряха Хаим Сутина. Остались от того времени два портрета Сутина, создавая которые чувствительный Модильяни поддался (невольнo или намеренно) сутинской манере. Дружба просвещенного тосканца с темным местечковым Сутиным оставалась тайной для Монпарнаса и породила много легенд. Говорили, что это Модильяни научил Сутина пользоваться носовым платком. Вполне правдоподобно, что односельчанин моей бабушки (не избалованный и в «Улье» бытовой роскошью) до самой мировой войны облегчал нос традиционным восточноевропейским способом (сопровождая эту процедуру счастливыми столами свершения). Дочь и биограф Жанна Модильяни полагает, что отец ее ценил Сутина (и прощал ему все) за то же, за что

он обожал Утрилло и Пикассо, — за природную талантливость.

Но Бог с ними, с Сутиным, с пропойцей Утрилло, со знаменитым Пикассо, — что же Анна? Он забыл Анну? Он ей не писал? На первый вопрос легче ответить, чем на второй. Он ведь без остатка был поглощен своей живописью, своим искусством... Модель, которая была сейчас перед ним, слияние с этой моделью — было для него важнее всего на свете. В беседе с кем-то из друзей он приравнивал это слияние к акту любви. Он погружался в глаза модели, он жил в них (Анна догадалась об этом — «глядишь в глаза чужие»), и к нему в большей мере, чем к кому-нибудь, могла быть применима эта знаменитая поговорка: с глаз долой — из сердца вон. Встреча с Анной сдвинула что-то в его живописи и скульптуре. Черты ее лица и линии ее тела долго еще маячили в его скульптурных портретах, в его «кариатидах». Он шел все дальше. Идти ему было нелегко: он преодолевал физическую слабость, изнурение, нужду, тяжкое похмелье. Но все же он шел вперед — это было главное. И ему не по силам сейчас было вспоминать, мечтать... Он ведь не бродил по садам и бежецким полям, по сонным аллеям императорских парков... Вдобавок он был из тех, о ком писал Д'Аннунцио, из тех, у кого быстро сменяются увлечения и разочарова-

ния. В тот год ему было вообще больше не до увлечений, не до разочарований... А позднее? Позднее он уже был далеко от золотой поры летнего романа...

В тот последний предвоенный год Модильяни часто писал портреты в квартире красавицы Габи, чьи ласки он вынужден был делить с неким ее богатым покровителем. По вечерам же (в компании Вламинка, Дерена, Остерлинда и русских друзей — Кикоина, Кислинга и других) он часто отправлялся в гости к полицейскому Декаву, который был покровителем изяшных искусств и коллекционером. Да, да, в старой, доброй довоенной Европе бывало и такое. Более того, другой офицер полиции, месье Замарон (поклонник Утрилло и Модильяни, покупавший их полотна), нередко выручал этих сильно пьющих гениев из участка, куда заводило их в конце попойки (выражаясь международным языком протоколов) нарушение общественного порядка в состоянии тяжелого опьянения. Как отмечают мемуаристы (в том числе и такие дружественные, как поэт Макс Жакоб), добрый, терпимый и щедрый Модильяни, готовый снять последнюю рубашку для бедняка-собрата (у него вообще было очень острое чувство социальной солидарности), становился под парами вина и гашиша, так сказать, «нехорош»: он бранился, обижал друзей, отпускал злые шутки.

По мнению одной из его натурщиц (может, впрочем, это была и сама пани Зборовская), в нем просыпался в эти недобрые минуты «еврейский сарказм». Полуфранцузская дочь Модильяни, обиженная этим предположением, высказала мнение, что это вообще средиземноморский способ реагировать на жизненные невзгоды (она наблюдала его у итальянцев, у арабов и всех прочих обитателей этой колыбели европейской культуры). О том же Модильяни рассказывают, как, сидя в «Ротонде» рядом с обнищавшим вконец приятелем, он уронил на пол ассигнацию, потом поднял ее с полу и отдал соседу со словами: «На, ты уронил... Не сори деньгами...» Историй о его щедрости, мягкости и деликатности множество. Но, конечно, ни гашиш, ни пьянство не улучшали его нрава.

Хотя Модильяни и удавалось кое-что зарабатывать в эту пору, а также получать время от времени помощь из Италии, большинство воспоминаний о его нищете и голоде приходятся именно на эту пору иступленной работы, болезней и беспорядочной жизни. Вот что рассказывает знаменитый художник (один из отцов фовизма) Морис де Вламинк:

«Зимним утром 191... года на каком-то углу бульвара Распай стоял Модильяни, глядя на проходящие такси с такой же надменной гордостью, с какой генерал смот-

рит на войска, марширующие перед ним на параде. Кожа стыла от ледяного ветра. Увидев меня, он подошел и сказал с неприужденностью: "Я тебе уступлю недорого свое пальто. Мне оно велико, а тебе будет в самый раз".

Убальдо Оппи вспоминает, как, услышав звонок, он открыл дверь и увидел Модильяни с чемоданом.

«— Оппи, — сказал он, — купи у меня этот чемодан.

— Зачем мне чемодан?

— Я за него прошу всего десять франков.

— Да у меня ни гроша. Я вон из постели не вылезая, потому что есть нечего.

Я стоял на пороге, в рубахе, с голыми ногами, босой, а он, поставив на лестничную площадку свой чемодан, покачал рукой, — старый матерчатый чемодан с железными уголками.

Мы печально взглянули друг на друга и улыбнулись. Модильяни прикрыл ресницами свои лучистые глаза, нагнулся, подобрал чемодан.

— Такие дела, — сказал он».

В 1914-м Макс Жакоб представил Модильяни Полю Гийому, еще совсем молодому, но уже известному торговцу картинами и художественному критику. Удачливый шеголь Поль Гийом считается открывателем Модильяни, Сутина и Дерена.

Общение с Максом Жакобом, поэтом и художником, усилило в Модильяни интерес к эзотерике, кабале, к цифрам, буквам и знакам, к взаимоотношениям между древнееврейской и католической символикой (на следующий уже год еврей Жакоб обратился в католическую веру). Иные из этих знаков можно видеть на портретах кисти Модильяни, в частности на портрете Жакоба.

В это время в жизнь Модильяни входит новая женщина, тоже, вероятно, сыгравшая немалую роль в его главной, творческой жизни, вторая такая женщина после Анны (недаром же, прочитав об этом полвека спустя, Анна Андреевна обрушилась на незнакомую соперницу — уже давно умершую — с такой ревнивой яростью). Женщину эту звали Беатрис. Она была молода (однако старше Модильяни на пять лет), красива, богата, эксцентрична, настойчива, деспотична и соблазнительна. Когда она уехала из Лондона в Южную Африку, занималась всем подряд, среди прочего — выступала там в цирке (именно это отметила Ахматова: еще одна «канатная плясунья»!), в Европу вернулась во время англо-бурской войны на корабле, вывозившем раненых. Она была талантливая журналистка и поэтесса, пережила эпоху бурной дружбы с Кэтрин Мэнсфилд, была последовательницей Блаватской, способным медиумом, за спиной у нее был немалый жиз-



ненный опыт. Ее сравнивали с хемингуэвской леди Брет из «Фиесты», и на Монпарнасе она вошла в легенду — под именем Беатрис Хестингс. На самом деле ее звали Эмили Алис Хейг, но она сменила за свою жизнь немало имен, увлечений и обличий. В последние шесть лет своей жизни (с 1937 по 1943 год) она издавала на свои деньги какую-то полуфашистскую газету, в которой поносила Шоу, Черчилля, семью Ситвел и всех евреев. 14 октября 1943 года она написала письмо в Британский музей, предлагая забрать у нее все ее рукописи. Ей ответили отказом, и в ту же ночь она открыла газ и покончила с собой, держа на коленях свою ручную мышку. Разрозненные листки ее записок разбросаны были по квартире, когда через полмесяца ее труп был наконец обнаружен. Записей о Модильяни там, к сожалению, уже не было...

Все это, впрочем, случилось через двадцать семь лет после их с Модильяни разрыва, а пока, в 1914-м, встреча с ней принесла ему немало, расширив его жизненный опыт, столкнув его с совсем иным, зачастую враждебным идейно и психологически (но всегда интересным) существом.

Познакомил их, кажется, Осип Цадкин. Беатрис вспоминала, что Модильяни показался ей некрасивым, злобным и алчным, когда они встретили его впервые в какой-то молочной. Назавтра он пришел на сви-

дание чисто выбритый, карман его, как обычно, раздут был от «Песен Мальдорора». Он «с изяществом приподнял фуражку и пригласил посмотреть его работы». Он был сильно увлечен ею, писал множество ее портретов, полных изящества и утонченности, однако на некоторых из них все же видна жесткость ее натуры. Она жила на Монмартре, близ площади Тертр, и вскоре он переехал к ней, в ее домик на главной монмартрской улице, на улице Норвэн (дом 13). Работал он теперь и дома (там он написал портрет Поля Гийома), и в ателье художника Хэвилэнда, и поблизости, в ателье на улице Равиньян, которое снимал для него одно время Поль Гийом. Пил он по-прежнему много, по одной версии — это Беатрис спаивала его, по другой — она его удерживала от пьянства. Так или иначе, именно в это время он находит себя, свой стиль и свой цвет. Он работает очень много и создает целый мир, населенный этими совершенно особыми модильяниевскими людьми, создает целую нацию «модильянцев», где все персонажи словно бы схожи (как схожи китайцы, на взгляд невнимательного европейца), но каждый несет отпечаток своего характера и неповторимой души. О портретах его написаны во всем мире сотни страниц, и мы не будем умножать объем этой довольно-таки специальной и ученой литературы. Писали о «мо-

дильяниевском цвете», флорентийском колорите, о «модильяниевской чистоте» и даже «святости», об изошренном варьировании техники, о странном новаторстве «ретро», иногда об излишней «сладкости», «красивости», даже манерности и маньеризме, но иногда также о некоем его «безысходном интеллектуализме», о «безнадежном пессимизме» и даже о «еврейском акценте» (не более чем навязчивая идея поисков «национального» в монпарнасском тосканце, ибо что у него было общего с его друзьями-евреями Сутиным и Кислингом, с Паскиным или Шагалом?). Критики никогда, впрочем, не забывали упомянуть о психологизме его портретов, о постижении характера, о его гениальных догадках и гениальных находках. Многих поражало его проникновение не только в душу, но и в жизненную историю персонажа. Чарлз Дуглас (живший в ту пору на Монмартре и часто видевший Модильяни) рассказывает, что, когда Модильяни стал писать его портрет, он написал его в шортах, с собакой — этакого белого плантатора. «Но я никогда не рассказывал ему, — изумлялся Дуглас, — что я ведь и правда был когда-то в Африке плантатором». Клод Руа писал, что к Модильяни применимы слова Бодлера, сказанные им об Энгре: «Он считал, что натуре следует исправить... Озабоченный этим... он часто делает модель почти невидимой,

надеясь этим придать больший вес контурам». Из приводимого искусствоведами перечня гениев, стилей и направлений, оказавших влияние на художника-эрудита Модильяни в пору его мучительных поисков собственного, модильяниевского стиля, можно было бы составить словник для художественной энциклопедии. Впрочем, кажется, никто, если не ошибаюсь, не включил в этот перечень русскую икону, а между тем так многое, в том числе и эти трогательно склоненные шейки младенцев, и эти девы... Амедео рассказывал Анне, что ходил на крестный ход в русскую церковь. Она запомнила из этой истории только смешной, как ей показалось (говорили-то все-таки не по-русски и не по-итальянски), анекдот о христосовании. Об иконах (и даже об атмосфере русской пасхальной ночи) она не спросила, может, не поняла толком, почему он об этом рассказал, да и до того ли им было... Она легкомысленно (пожалуй, слишком легкомысленно для своих лет) писала потом, что Модди просто любил пышные церемонии (может, ей вспомнился вдруг при этом Недоброво)...

Именно в эту пору исступленно работавший Модильяни создает портреты знаменитого мексиканского художника Диего Риверы (того самого, что являлся в «Ротонду» в обществе своего приятеля Л. Троцкого), Жана Кокто, Фрэнка Хэвилэнда, заме-

чательного русского художника Льва Бакста (одного из творцов того, что назвали во всем мире «дягилевским балетом»), портрет своего русского друга Моше Кислинга, многочисленные портреты продавщиц, служанок, детей, музыкантов, художников, портрет Жака Липшица и его жены Берты, бесчисленные портреты женщин (Антония, мадам Помпадур, Официантка в полосатом фартуке, Богема), и среди них — портреты главной из женщин, Беатрис. Похоже, что именно в эту пору рождается настоящий (во всяком случае, тот, что лучше всего ныне известен) портретист Модильяни. В эту пору растет и его известность, но до настоящей материальной самостоятельности ему еще, конечно, далеко. Да и потом — сколько должен зарабатывать человек, которого мусорщики поутру вытаскивают из ящика, где он проспал всю ночь сном младенца, упав туда с вечера мертвецки пьяным? Дуглас вспоминает, как Моди выкрикивал строки Рембо в кафе папаши Юбера, как они вдвоем попеременно читали Лотреамона на Монмартрском кладбище над могилами Гейне, прекрасной княгини-польки Салтыковой-Потоцкой и пушкинского друга Якова Толстого:

«Я увидел перед собою надгробье. Я услышал, как светлячок, что был громаден, как дом, сказал мне: «Прочти эту надпись.

Я тебе посвечу. Ты увидишь, что это не я учредил этот высший порядок...»

В могиле был юноша, убитый болезнью за то, что не молился усердно».

Де Вламинк вспоминает, как Модильяни делал наброски за столиком «Ротонды» и царственным жестом тут же раздавал их посетителям — точно миллионер, раздающий банкноты. Мы могли бы тут сделать поправку: «пачки банкнот»... Вспоминают, каким он бывал любезным, и щедрым, и тонким, и благородным — пока не достигал определенной степени опьянения, после которой становился и сварливым, и злым, и неприятным. Беатрис недаром говорила, что он «и жемчужина и поросенок» (Боже, как разозлилась на «циркачку» Ахматова, прочитав об этих ее словах полвека спустя!). Конечно, у Амедео бывали ссоры с Беатрис — и наедине и на людях. Иногда он ревновал ее к кому-то на Монпарнасе (может, не без оснований). Может, и это все было полезно для его художества (кто скажет?) — во всяком случае, он работал все больше (и все лучше). В ноябре 1915 года он писал матери:

«Милая мама.

Это просто преступление, что я так долго не давал знать о себе. Но... столько всего... Во-первых, изменился адрес: пло-

шадь Эмиля Гудо, 13, XVIII округ. Несмотря на все эти хлопоты, дела идут, в общем-то, сравнительно неплохо. Я снова пишу картины, и их покупают. Это уже немало...»

Картины его покупал Поль Гийом. И была у него в то время любовь...

Шла война, и одно время он хотел даже уйти в армию. Но не ушел. Он был иностранец. Брат у него был пацифистом-социалистом. Да к тому же в Италию было не так-то легко добраться. Самого его не интересовали ни социализм, ни пацифизм, ни война. Точнее, у него была своя борьба (достаточно жестокая и, как считают многие, важная — борьба за свое место в искусстве, битва за самовыражение). К тому же вряд ли ему (как и вояке Сутину, который попытался тогда вступить в армию) доверили бы оружие. Иным из русских эмигрантов, впрочем, удалось тогда уйти на фронт. Их могилы (в одной из них зарыта рука Зиновия Пешкова) разбросаны по всей восточной границе Франции...

В 1916-м они окончательно разошлись с Беатрис. Для Модильяни начались новые скитания. В том же году Кислинг представил ему молодого поэта-изгнанника Леопольда Зборовского, который взял Модильяни под свою опеку, став не просто продавцом его картин (маршаном), но и его другом, защитником, благодетелем. По неко-

торым источникам, это жена Фужиты, занявшаяся в то время делами своего мужа, посоветовала Зборовскому (Збо) взять Модильяни под свое крылышко.

Леопольд Зборовский, происходивший из богатой польской семьи, женат был на родовойтой польке, чья нежная, длинная шея, совершенный овал лица, близко поставленные черные глазки и острый подбородок словно созданы были для портретов Модильяни. Поэт, эстет и коллекционер Зборовский с 1916 года посвятил себя одному делу — Модильяни. Он не только искал покупателей для его полотен (в которые был влюблен), но также предоставил ему для работы самую большую комнату в своей квартире на улице Жозеф-Бара близ бульвара Монпарнас и поставлял ему натурщиц высочайшего класса, лучшими из которых были пани Анна Зборовская и утонченная Луния Чеховска. Збо был не просто маршан Амедео, он был его поклонник и союзник. Поначалу дела у него шли плохо. Андре Сальмон вспоминает, как, пробежав весь день по городу с полотнами Модильяни, Збо возвращался под вечер и слезы стояли «в этих глазах польского спаниеля и поэта». Они отправлялись все вместе ужинать в кафе «У Розали», что на улице Кампань-Премьер, и нередко Модильяни расплачивался за ужин рисунками. Осип Цадкин, который, как многие русские художни-



ки, испытывал неодолимый соблазн заниматься литературой, оставил описание подобного ужина, в заключение которого Модильяни запел итальянскую песню, «нараставшую в нем какими-то подземными толчками», а крысы, уже сжевавшие в подполье брошенные туда хозяйкой рисунки Модильяни, пробирались наверх, на кухню, с остатками рисунков в пасти...

Трогательным отношениям Амедео с Анной и Леопольдом несколько вредила пагубная привязанность Модильяни к его русскому другу Сутину, которого Модя считал гениальным. Модильяни вздумалось написать еще два портрета Хаима, и шляхетной пани Зборовской пришлось выносить визиты дурно пахнувшего местечкового еврея в ее элегантную квартиру на Жозеф-Бара. Зато уж, сколько ни уговаривал Модильяни своего друга Зборовского заняться делами Хаима, Збо не соглашался ни в какую и с опаской косился на Анну. (Кто знал, что в один прекрасный день Поль Гийом приведет к Сутину американского коллекционера доктора Барнса и тот купит всего Сутина скопом? Впрочем, к тому времени Модя, да, пожалуй, и Леопольда, уже не было в живых, а обедневшая Анна распродала «своих модильяни».)

В «Ротонде» моделями для постоянно рисовавшего и редко расстававшегося со своим синим блокнотом Амедео не всегда

служили экзотические подружки-натурщицы, вроде Кики, или породистые польские аристократки с такими нежными, тонкими шеями. Была, например, эта плотная, приземистая, родом с Украины, молоденькая коллега-скульптор, студентка художественной Академии Коларосси Ханна Орлова. У нее, похоже, вообще не было шеи (при этом Ханна прожила долго, была счастлива в творчестве и семейной жизни, какое наблюдение способно излечить от фетишизма любого эстета или застенчивую дурнушку). Наблюдательный портретист Модильяни разглядел олимпийское спокойствие Ханны и даже успел отразить его на кабацком наброске в «Ротонде». Амедео разорвал старый конверт и на чистой его стороне нарисовал довольно смешной портрет этой своей неунывающей подружки. (У Жака Шапиро есть, впрочем, эпизод, в котором частый посетитель «Улья» писатель А. Куприн уговаривает молоденькую «Райку» достать денег и выпить с ним винца, чтобы забыть печаль. Очень похоже, что речь идет о Ханне.) Семья Ханны с Украины эмигрировала в Израиль, и Модильяни (еще находившийся под влиянием их с Максом Жакобом поисков) неуверенно вывел над своим рисунком древнееврейскую надпись: «Ханна, дочь Рафаэля». В 1917 году во время ежегодного карнавала в Академии Коларосси Ханна познакомила Амедео с лучшей

своей подружкой-студенткой, прелестной девятнадцатилетней Жанной Эбютерн. Девушка была маленького росточка, и волна ее темно-каштановых волос с рыжеватым отливом так резко контрастировала с белой кожей, что подружки прозвали ее Кокосовым Орешком. Она вовсе не была такой бессловесной и покорной, какой вошла в предания Монпарнаса: знавшие ее ближе отмечали ее горькое чувство юмора. И еще отмечали, что она была талантливой художницей. Встреча с Амедео на веселом студенческом карнавале была для нее роковой. Она влюбилась в этого ни на кого не похожего (это ведь отметила при знакомстве и русская Аннушка) человека и пошла за ним — на жизнь и на смерть. Вся беда была в том, что жизни ему оставалось совсем немного...

Вскоре Амедео и Жанна сняли вместе квартиру на рю де ла Гранд-Шомьер. Зборовские надеялись, что жизнь Моды войдет теперь в колею. Чтобы подбодрить его, Леопольд осенью 1917 года устроил ему выставку у Берты Вайл. Выставка началась со скандала (о чем может мечтать любой художник): полиция велела снять пять модильяниевских «ню», оскорблявших стыдливость публики. Не то чтоб эти бывалые парижские фараоны не видели до того обнаженной натуры. Видели, и немало. Однако пронзительная чувственность модильяниев-

ских «ню» смутила и этих бывалых парижан в полицейской форме. Скандал художнику не помог: ничего на выставке не было продано. Модильяни работал по-прежнему много, но здоровье его внушало окружающим опасения. Жанна ждала в это время ребенка, и они решили отправиться на зиму 1918-го в Ниццу. В ноябре Жанна родила дочку, которую назвали, как и мать, Жанной. Поскольку брак их не был зарегистрирован, девочку записали на фамилию Жанны — Жанна Эбютерн. Сохранилось несколько писем Амедео Зборовскому из Ниццы. Умоляющие и смущенные письма — о деньгах. То у него украли кошелек, то нужны были деньги на кормилицу, то деньги на жилье. Верный Зборовский не оставлял его без помощи, хотя картины продавались плохо. Уезжая, Леопольд вверил Модии заботам Остерлинда, у которого была вилла в местечке Кань. На этой вилле Модильяни прожил несколько месяцев. Он написал там великолепный портрет Жермен Сюрваж и портрет жены Остерлинда, прекрасной Рашель, умиравшей от туберкулеза, а также портреты Блеза Сандра и актера Гюстава Модо. И конечно, много-много портретов Жанны. Амедео гордился женой, рад был дочке, но новые обязанности повергали его в отчаянье. Как истинный итальянец, он показывал Жанну только самым близким из друзей и никогда

не брал ее с собой в кафе, а Сюрважу говорил иногда за стаканом вина:

«Эх, женщины! Лучший подарок, который им можно сделать, — это ребенок. Но здесь надо остановиться! Смотри, чтоб не пошли кувырком и живопись, и все искусство, а чтоб они служили искусству. Тут уж мы должны не упустить...»

Имя Модильяни к тому времени стало довольно известным среди художников, и старенький Огюст Ренуар, живший в Ницце и никого больше у себя не принимавший, согласился по просьбе Остерлинда повидаться с этим молодым Модильяни, о котором столько говорят. Ренуар считал, что он должен поощрять молодежь. Остерлинд уговорил Модильяни прийти на свидание трезвым. Разговора об искусстве у молодого и старого мэтра не получилось: это был диалог глухих. Ренуар послал их в свою мастерскую на холме посмотреть его последние «ню», взглянув на которые Модильяни решил сразу уйти домой. Остерлинд с трудом уговорил его вернуться к старику, попрощаться. «Ты пойми, — сказал Остерлинд, — он же старый, он, может, завтра умрет». Модильяни вернулся и угрюмо сел в угол. «Вы видели мои «ню»?» — спросил Ренуар. «Да». Воцарилось долгое молчание. «Вы видели эти розы? — умоляюще сказал Ренуар. — Эти розовые попки? Как я их выписывал, выглаживал, обхаживал,

вылизывал... Целыми днями...» «Я не люблю красивые попки», — мрачно сказал Модильяни и пошел к двери. Дверь хлопнула. Остерлинд готов был провалиться сквозь землю. Надо отдать должное старику Ренуару: он продал одно из своих полотен Зборовскому, чтобы тот смог заработать на нем хоть что-нибудь для Модильяни (который, впрочем, пережил старого Ренуара всего на несколько месяцев).

Весной 1919 года Амедео вернулся в Париж, а вслед за ним и Жанна с ребенком. Вскоре стало ясно, что Жанна снова забеременела.

Вырвав из тетрадки лист разлинованной бумаги, Амедео написал на нем:

«Сегодня, 7 июля 1919 года, принимаю на себя обязательство жениться на мадемуазель Жанне Эбютерн, как только придут бумаги».

Под торжественным обещанием, кроме подписей Амедео и Жанны, стояли подписи свидетелей — Леопольд Зборовский, Луния Чеховска.

Маленькую Жанночку решено было отправить к кормилице на Луару. В ожидании okazji Луния держала ребенка у Зборовских на улице Жозеф-Бара. Амедео, совсем пьяный, звонил иногда у подъезда среди ночи, чтобы спросить, как там его доченька. Луния заклинала его не будить соседей. Он мирно присаживался на ступеньку.

Потом исчезал незаметно. Пил он по-прежнему много. Кто-то видел его пьяного под дождем на церковной паперти на площади Алезиа. На Рождество 1919 года одна знакомая видела его в ночном кафе на бульваре Вожирар близ мастерской Марии Васильевой. Он дважды подходил в кафе за бутербродами среди ночи. Поймав удивленный взгляд, он сказал: «Только усиленное питание может меня спасти». Он редко кому говорил о своем туберкулезе, теперь дурные предчувствия настойчиво посещали его. Однажды под вечер он вскарабкался на Монмартр и пошел в гости к Сюзанне Валадон, матери его друга художника Утрилло, к которой Амедео чувствовал почти сыновнюю привязанность. Сюзанна прожила нелегкую жизнь, была циркачкой, потом натурщицей у Ренуара, Тулуз-Лотрека, Дега (это Дега и посоветовал ей заняться живописью). Она могла понять его и утешить. Усевшись за стол у Сюзанны, Модди попросил вина, а выпив, стал вдруг плакать и петь какую-то молитву на древнееврейском. Жанна-младшая полагает, что это была поминальная молитва кадиш (других в маловерной семье Модильяни, где выросла потом и Жанна, не знали)... Он пел и плакал...

В ту зиму Амедео писал матери:

«Дочка в деревне: у кормилицы. А я вот думаю, может, весной поехать в Италию. Надо пережить «период». Впрочем, еще неясно...»

В один из этих дней Ортис де Зарате и Моше Кислинг зашли к Модильяни. В квартирке стоял ледяной холод. Амедео лежал в постели. Жанна (она была на последнем месяце беременности) сидела рядом и писала портрет мужа.

В конце января нелегкая понесла его с друзьями куда-то на улицу Томб-Иссуар, в гости. Когда дверь подъезда открылась, все поднялись наверх, а он замешкался, присел на скамейку и сразу уснул. Утром его отвезли в больницу. Говорят, что он повторял перед смертью: «Кара Италия! Милая Италия!» Впрочем, если верить монпарнасским легендам, он много чего наговорил перед смертью, бедный Амедео. Умолял Зборовского заняться его другом Хаимом. Звал за собой Жанну, чтобы в раю у него была натурщица.

Отстранив непреуспевшего Кислинга, профессионал Липшиц снял с него посмертную маску. Пришла Жанна, долго-долго смотрела ему в лицо, не говоря ни слова. Потом отец увел ее домой.

Старший брат Эммануэле Модильяни, тот, что был социалист, не достав французской визы, прислал телеграмму, лишеную классового сознания, но полную горя и тосканского пафоса: «Похороните его как принца». Монпарнас и «Ротонда» устроили шумные похороны своему тосканскому принцу. Вспоминают, как рыдал в те дни в



«Ротонде» Хаим Сутин, неопрятный гений из местечка Смиловичи...

Жанна ушла домой, на улицу Амио, с родителями. Под утро ее брат Андре услышал, как хлопнула оконная рама. Он бросился к окну, глянул вниз с высоты шестого этажа... Жанна уже ушла за своим Амедео.

Так они покинули наш мир: беспутный, беспокойный монпарнасский поэт и художник, неуемный искатель художественной правды с ласковых берегов Средиземного моря; и она, хрупкая, нежная парижанка Жанна, так всерьез принявшая это сладкое слово — Любовь. Их ждала посмертная слава. Но могла ли она согреть их? Недаром же сказано, что она негреющее солнце мертвых.

## Анна без Амедео

**Н**аша маленькая повесть не кончена, потому что в ней два главных героя — Он и Она. Его мы с Вами проводили, совсем еще молодого и совсем еще незнаменитого, на парижское кладбище. Ее же историю мы оборвали на самом важном и интересном месте, а ведь Ей суждено было жить долго...

В марте 1912 года вышла в свет первая книга стихов 23-летней Анны Ахматовой — книга «Вечер», благосклонно встреченная критикой (много писали и говорили о ней старшие коллеги — поэты В. Брюсов, С. Городецкий) и восторженно — читателями. Не такой уж малый ее тираж (300 экземпляров) разошелся мгновенно, а через небольшое время вышла и вторая (просто уж значительным для того времени тиражом — 1000 экземпляров) книга Ахматовой — «Четки», сделавшая ее знаменитой на всю Россию поэтессой и выдержавшая множество изданий. Легко представить себе, какой фурор произвело появление новой, настоящей (притом молодой и красивой) поэтессы в литературных кругах,

живших стихами и книгами. Муж ее, поэт Николай Гумилев (ни одна из книг которого не вызывала такого шума), написал полушутя, полуторжествуя, полузавидуя:

Ретроградка иль жорж-зандка,  
Все равно, теперь ликуй:  
Ты с приданым, гувернантка,  
Плюй на все и торжествуй!

Позднее (много позднее) зрелая, маститая, но все еще живущая отзвуками той славы, Анна Ахматова с высоты нового мастерства и жизненного опыта смотрела словно бы даже с завистью и с раздражением (впрочем, и с гордостью тоже) на те стихи и те годы незабываемого успеха и популярности.

«Эти бедные стихи пустейшей девочки, — писала она почти через полвека, — почему-то перепечатываются тринадцатый раз... Сама девочка (насколько я помню) не предрекала им такой судьбы и прятала под диванные подушки номера журналов, где они впервые были напечатаны, «чтобы не расстраиваться». От огорчения, что «Вечер» появился, она даже уехала в Италию (1912 год, весна)...»

Надеюсь, что читатель мой приучен уже всякую мемуарную литературу воспринимать не как документ, а как литературу, особенно если это мемуары литератора. К примеру, поздние, как бы «мемуарные», ро-

маны Набокова («Другие берега», например) куда более «романы», чем его первые, «целиком придуманные», но вполне автобиографические, романы. К тому же обратите внимание на это извиняющееся «насколько я помню» (так много ведь было написано о спасительном Ахматовском «умении забывать»). Нет, все было иначе. Аннушка сопровождала своего мужа (ставшего мало-помалу и влиятельным критиком, и поэтическим мэтром) на литературные посиделки и ночные сборища богемы, она была на них королевой (хотя по временам и казалась испуганной девочкой), она позировала модным портретистам, откликалась на зовы новой любви, все еще не приносившей ожидаемого ослепительного счастья, а поклонников и вздыхателей у нее теперь было множество.

Сам король поэтов Александр Блок после одного из визитов на «башню» к Иванову делает запись в дневнике:

«В первом часу мы пришли с Любой к Вячеславу. Там уже — собрание большое... А. Ахматова (читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше)».

Тою же весной, что вышла первая книга, Анна узнала о том, что она носит под сердцем ребенка. Может, тогда супруги и решили поехать в Италию. Возможно, они надеялись, что второе совместное путешествие (особенно теперь, в ожидании ре-

бенка) поможет им наладить отношения, восстановить мир в семье (ведь при всех разочарованиях Гумилев оставался для Анны «ласковым братом», законным мужем, который «ждет»). А может, все-таки (хотя горечь парижского расставания уже не была такой острой и Париж не так мучительно пылал у нее «за плечами... в каком-то последнем закате») она не случайно выбрала для поездки страну Амедео, прежде чем расстаться с той любовью окончательно. Так или иначе, и во второй книге ее есть стихи о том, о другом, который не прислал письмо, о «любимом», предавшем ее «тоске и удушью / Отравительницы-любви», о «хитром», коварном и «черном», от любви к которому ее излечит верная любовь «тихого» ее супруга:

Я сказала обидчику: «Хитрый, черный,  
Верно, нет у тебя стыда.  
Он тихий, он нежный, он мне покорный.  
Влюбленный в меня навсегда!»

Она была смертельно уязвлена Его молчанием, Его «предательством», но в одном из Его городов (там он учился живописи, там входил в кружок поэтов, рано покинувших мир, но миром замеченных), во Флоренции, она впервые, вероятно, приходит к пониманию того, как многим она обязана этой встрече, этой долгой любви. Томительное ожидание парижской встречи, по-

том эти муки «отравительницы-любви», это ожидание письма, «дальней вести», которая одна может ее «утешить», эти не смертельные, но такие болезненные «уколы» тоски («Ты давно перестала считать уколы...»), — они и открыли, по всей очевидности, в ее душе шлюзы настоящей поэзии, они, а не прочтение еще одной, новой поэтической книги, открывшей ей глаза на поэзию (даже если эта книга «Кипарисовый ларец»). То, отчего Ахматова не сказала об этом хотя бы намеком (если не считать намеком указания на то, что для них обоих это был «предрассветный час», что будущее уже «стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны» — этих фонарей, этих деревьев с парижской улицы Бонапарта, этой музыки в скверах много и в первой, и во второй ее книгах), — очевидно. Через год, и два, и пять были основания скрывать этот тайный, ранивший мученика-мужа роман. Через полвека сложилась уже (и в ее голове, и в литературоведении) стройная теория ее становления, разнообразных влияний, ее созревания в рамках таинственного акмеизма (был ли мальчик-то?) как зари нового века — чего там еще?

В стихотворении, написанном ею той весной в Его Флоренции, отмечено, впрочем, что она ему, Амедео, «печально-благодарная». Там же содержатся догадки о благотворности страдания, об избранности

поэта. Стихотворение это вообще отличается большой зрелостью чувства (это многие отмечали впоследствии):

Помолись о нищей, о потерянной,  
О моей живой душе,  
Ты, в своих путях всегда уверенный,  
Свет узревший в шалаше.

И тебе, печально-благодарная,  
Я за это расскажу потом,  
Как меня томила ночь угарная,  
Как дышало утро льдом.

В этой жизни я немного видела,  
Только пела и ждала.  
Знаю: брата я не ненавидела  
И сестры не предала.

Отчего же Бог меня наказывал  
Каждый день и каждый час?  
Или это ангел мне указывал  
Свет, невидимый для нас?

В стихотворении, написанном после поездки, но включенном ею, среди более поздних стихотворений, в новый сборник, она пишет об исцелении от той любви:

Стал мне реже сниться, слава Богу,  
Больше не мерещится везде.

Исцелил мне душу Царь Небесный  
Ледяным покоем нелюбви.

Через много десятилетий, впервые назвав в одном из вариантов своей поэмы

Модильяни по имени, Анна упомянула о его печальном свойстве «быть многих бедствий виной». Что она имела в виду? Кто скажет?

Осенью того же 1912 года Анна родила сына, которого назвали Львом. Рождение сына мало что изменило в жизни супругов и их взаимоотношениях. Ребенок жил у бабушки, которая его и воспитала. Иногда и Анна жила в Слепневе. Она много писала там — стихи, потом поэмы. Незаметно, чтобы и в стихах ее ребенок занимал какое-нибудь место. Есть, впрочем, строка в стихотворении о Бежецке (что в пятнадцати верстах от Слепнева): «Там милого сына цветут васильковые очи...». Вот и все, пожалуй. Анна сама говорила, что была плохой матерью, и спорить тут (как делают иные из биографов), пожалуй, не с чем.

Спи, мой тихий, спи, мой мальчик,  
Я дурная мать.

Она по-прежнему пишет много стихов о любви, и у нее (как, впрочем, и у Гумилева), пользуясь столь удачно найденной мемуаристами формулой, «сложная и богатая жизнь сердца». Иногда как будто можно опознать в строках героев ее новых романов. Один из них явно — король поэтов Александр Блок. Встреча их была «незначительной», но Анна знает, что ее образ



«горько волнует» покой поэта, и она предчувствует их неизбежную вторую встречу. Серьезным и долгим был роман Анны с молодым и красивым литератором, прозаиком и критиком, Николаем Недоброво. Впрочем, по-настоящему влюблен был только Недоброво, оставивший ради нее жену. В стихах, посвященных Недоброво, Ахматова писала о заветной черте близости, переступить через которую она не может в общении с ним: «не бьется сердце под твоей рукою». Собственно, нелюбимый (или не до конца любимый) Недоброво занял место Гумилева (и даже эпитетом, которым Анна раньше награждала мужа, он завладел — «тихий»: «Тихий, тихий, и ласки не просит, / Только долго глядит на меня...»). По ее свидетельству, долгое общение с Недоброво много дало ей как поэту. Недоброво написал и одну из лучших рецензий на ее стихи, где говорилось о жесткости ее лирической героини. В 1916 году Анна и Недоброво прощались в Крыму, где оба лечили туберкулез. Недоброво и умер там в 1919-м.

Гораздо больше, однако, затронула Ахматову встреча с другом Недоброво, художником Борисом Анрепом. Она подарила ему черное кольцо в залог любви, но, увы, Анреп уехал в Англию, откуда так и не вернулся, чтоб забрать Анну. Она не раз называла его за это в стихах «отступни-

ком», променявшим и ее любовь, и родину на зеленый остров... Борису Анрепу, этой любви и его предательству она посвятила добрых три десятка стихотворений.

Что до Гумилева, ставшего к тому времени славным мэтром поэзии и вечно окруженного влюбленными в него поклонницами его таланта, то он с горечью сознавал, что потерял Анну окончательно — «проиграл» ее. В новом своем африканском путешествии, из которого он, как и раньше, посылал жене влюбленные письма, он написал такие строки:

Я знаю, жизнь не удалась... И ты,  
Ты, для кого искал я на Леванте  
Нетленный пурпур королевских мантий,  
Я проиграл тебя, как Дамаянти  
Когда-то проиграл безумный Наль.

Твоих волос не смел поцеловать я,  
Ни даже сжать холодных, тонких рук...

И ты ушла, в простом и темном платье...

Нет, она еще не ушла, но она была чаще всего не с ним, и ему доводилось отвозить ее на извозчике на какое-нибудь очередное свидание. Они еще вместе появлялись, впрочем, на заседаниях литературных групп, где он верховодил, или в богемном кафе «Бродячая собака». Здесь ее видели многие тогдашние художники и поэты, и, пораженные необычностью ее кра-

соты, они писали ее портреты или стихи о ней. Первые могли бы заполнить особую ахматовскую галерею, а вторые — заполнить толстенную антологию стихов «об Ахматовой». Как не раз отмечала критика, «поэзия жила тогда внушениями живописи, а живопись — поэзии». Образ поэта становился идеалом для портретиста. Портреты Ахматовой пишут Сорин, Альтман, Судейкин, Анненков, Бруни, Делла-Вос-Кардовская, Тырса... Поэты нередко создают ее стихотворные портреты, похожие на скульптурные.

Вполоборота, о печаль,  
На равнодушных поглядела,  
Спадая с плеч, окаменела  
Ложноклассическая шаль...

Так писал ее друг (и, конечно, поклонник) Осип Мандельштам. Анна становится символом и мифом петербургской богемы (как Модильяни — мифом и символом богемы монпарнасской), равно как и олицетворением самой Поэзии.

В начале века профиль странный,  
истончен он и горделив,  
возник у музы.  
Звук желанный раздался...

*(С. Городецкий)*

Портреты ее, созданные лучшими русскими художниками и поэтами, передавали не только неотразимое воздействие ее не-

обычности и красоты, но и безошибочное ощущение таланта.

Как Черный ангел на снегу,  
Ты показалась мне сегодня,  
И утаить я не могу,  
Есть на тебе печать Господня.

Это снова Мандельштам.

Необычность этой странной женщины, так вот, с ходу, покоровшей петербургскую элиту, а потом и всю Россию, пытался передать молодой Пастернак:

Мне кажется, я подберу слова,  
Похожие на Вашу первозданность,  
И если не означу существа,  
То все равно с ошибкой не расстанусь...

Сам небожитель Блок посвятил ей в 1913 году знаменитые строки, вторящие хору, воспевавшему ее красоту:

«Красота страшна», — Вам скажут, —  
Вы накинете лениво  
Шаль испанскую на плечи...  
.....  
«Не страшна и не проста я,  
Я не так страшна, чтоб просто  
Убивать; не так проста я,  
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Ее стихотворный (не лишенный нарциссизма) автопортрет той же поры тоже настаивает на этом новом знании:

На шее мелких четок ряд,  
В широкой муфте руки прячу,  
Глаза рассеянно глядят  
И больше никогда не плачут...

Были, впрочем, мужчины и поэты (притом из числа женолюбивых), которым и стиль этот, и красота эта не казались соблазнительными. Таков был, к примеру, Бунин, чье описание богемной примадонны дышит недоброжелательностью:

Большая муфта, бледная щека,  
Прижатая к ней томно и любовно,  
Углом колени, узкая рука...  
Нервна, притворна и бескровна.

Была ли она и впрямь притворна? Без сомнения, был в ее поведении элемент игры, театральности (как и в поведении Гумилева или Модильяни), были «jeux de rôle». Роли, которые она играла, были для нее не чуждыми. Она играла поэтессу, играла даму из общества (как принято было в Царском, как учил ее позднее Недоброво), играла грешницу и кабацкую богему («Все мы бражники здесь и блудницы...»). Все это было ей не чуждо, отсюда органичность исполнения — она проживала эти роли.

Ну а что несчастный ее муж, ставший знаменитым и надменным («лебедем надменным», как назвала его Анна в одном из стихотворений той поры, в том самом, в кото-

ром она сожалеет об ушедшем царскосельском отрочестве, о том, что вот и он перестал быть так трогательно и беззаветно влюбленным в нее «лебеденком»? Гумилев утешался со своими поклонницами и ученицами и вращался в созданный им собственный героический образ. И он преуспел в этом, как все убедились вскоре... Что же до поэзии, то благозвучные стихи его были достаточно знамениты, иным (вроде его «Капитанов») суждена была громкая слава. Впрочем, наиболее строгие из критиков и сегодня считают, что он не успел стать настоящим лириком, а лучшие его лирические стихи (весьма немногочисленные) все-таки посвящены ей, главной его любви — Анне...

Но вот мир их рухнул. Началась страшная война 1914 года, и с ней — новый век, «настоящий, не календарный». Кто предвидел, как страшен он окажется?

Гумилев ушел на войну и заслужил там два Георгиевских креста за храбрость. На войне он думал о сыне, не только пророча ему в простеньких стихах лучшую жизнь, но и вверяя ему при этом почетную миссию искупления родительских грехов:

Он будет ходить по дорогам  
И будет читать стихи,  
И он искупит пред Богом  
Многие наши грехи.

Если б он знал, на какие муки родили они своего Льва («Львеца», — писал Гуми-

лев с фронта и из Африки), чуть не с первых дней перепорученного заботам бабушки.

В конце войны Гумилев снова оказался в Париже. Он дружил там с Гончаровой и Ларионовым и пережил сильное любовное увлечение. После его возвращения в Петербург они с Анной разошлись окончательно.

Начались скитания Анны Ахматовой. Она жила одно время у школьной подруги Валерии Срезневской, недолгое время была замужем за ученым-ассирологом Шилейко, жила у подруги своей, прелестной Ольги Глебовой-Судейкиной, эгерии тогдашних поэтов, художников, композиторов...

Ты в Россию пришла ниоткуда,  
О мое белокурое чудо,  
Коломбина десятих годов! —

так обращалась Ахматова к прежней, нежно любимой подруге в «Поэме без героя», не зная, что бедная Оленька только что умерла в Париже. В ту пору, когда Анна переехала к Судейкиной, у нее, по одним свидетельствам, был роман с новым Ольгиным мужем-композитором, по другим — с самой Ольгой тоже. Последнее («Вам хочется на вашем лунном теле / Следить касанье только женских рук...» — писал тогда Гумилев) вполне правдоподобно, ибо еще и первый муж Ольги, Судейкин, и его друг, поэт Кузьмин, и другие принесли в этот

дом атмосферу некой сексуальной двусмысленности. К тому же это было вполне в духе времени (вспомните тогдашнюю младшую поэтессу — Цветаеву). И дух этот, надо сказать, был вполне определенного свойства. Дух вседозволенности, высокого превосходства гения над толпой и ее установлениями. Так учили западные властители дум, а Гумилев ведь, как и Модильяни, был поклонником Ницше и Д'Аннунцио. Ради высокого искусства дозволен был не только грех, но порой и самый союз с дьяволом: «Дьявол не выдал. Мне все удалось». Правда, вслед за этими строками у молодой Ахматовой: «И задохнулась от срама такого». Задохнулась, но ни от чего не отказалась. А как же грех? Как же неизменная икона в углу? Где чувство вины, где раскаяние?

И ни в чем не повинен: ни в этом,  
Ни в другом и ни в третьем...

Поэтам

Вообще не пристали грехи.

Так она написала в поздней «Поэме без героя». Но это уже, пожалуй, было не о ней, зрелой, это было скорее о настроениях Серебряного века, о карнавале масок, о Козлоногой Коломбине десятых годов (символ времени, легкомысленная Ольга тут в значительной степени — двойник самой тогдашней Анны). Ахматова сознавала по вре-



менам недопустимость подобной вседозволенности, она каялась, но, покаявшись, грешила снова. И снова все прощала себе эта «веселая грешница», которую позднее подруга ее, некрасивая Надя Мандельштам, называла «суровой игуменьей». В молодости Анна была безудержна и своевольна. И слаще казались ей слезы раскаянья после греха. И слаще — грех после раскаянья. И мешались в стихах ее и в жизни «искренность — с хитростью и кокетством... монашеское смирение — со страстью и ревностью». Это отметил один из первых серьезных ее критиков, Борис Эйхенбаум, приводивший в подтверждение своих наблюдений ахматовские строки (пригодившиеся потом референтам товарища Жданова):

Но клянусь тебе ангельским садом,  
Чудотворной иконой клянусь  
И ночей наших пламенным чадом...

И еще это:

Моя рука, закапанная воском,  
Дрожала, принимая поцелуй,  
И пела кровь: блаженная, ликуй!

«Дар десятых годов — снисходительность к себе, отсутствие критериев и не покидавшая никого жажда счастья», — писала в своих мемуарах Надежда Мандельштам. Поэт Анатолий Найман, приводя в

своих интересных воспоминаниях разговоры с Ахматовой о тех временах, тоже отмечает тогдашнюю иллюзию «освящения небом земной страсти».

Раскаяние (и возмездие) пришло позже, в ночах Фонтанного Дома («...всю ночьведу переговоры / С неукротимой совестью своей»), в резких ее нападках на свои прежние стихи, да и на себя прежнюю:

С той, какую была когда-то...  
Снова встретиться не хочу.

Впрочем, все это позже, а пока и Ахматову, и русскую интеллигенцию, и всю Россию ждали страшные испытания — провал в пореволюционную разруху, страх насилия и смерти и, наконец, — разгул насильственной смерти. Преодолевая унижения нищеты и голода, интеллигенция еще продолжала трудиться, люди еще что-то писали, что-то издавали, читали стихи, утешали себя, что в этой нищете и разрухе все стало ясней и дышится легче... Есть такие стихи и у Ахматовой, переживавшей пик своей славы: ее стихами упивались даже пролетарки в красных косынках, ее стихи о любви защищала от идейных аскетов сама партийная красавица Лариса Рейснер (жена влиятельного Раскольниковца, любовница еще более влиятельного Радека, а одно время также поклонница и возлюбленная

Гумилева), милиция не могла сдержать всех рвавшихся на ее вечер... Однако осознание того, что у тоталитарной коммунистической власти не может быть «человеческого лица», приходило с каждым новым кровопролитием. Одним из первых пал Гумилев...

«Педагогика устрашения», известная еще революционному Конвенту во Франции XVIII века, требовала крови... Имя Гумилева (вместе с другими славными именами ни в чем не повинных интеллектуалов России) попало в списки участников «заговора» (состряпанного, как и почти все последующие сотни «заговоров», в кабинетах секретной полиции). В 1921 году Николай Гумилев был расстрелян в подвале петербургской чеки. Он оставил сына, вдову свою Анну Энгельгарт с ребенком, «неофициальную вдову» И. Одоевцеву и по праву долгого родства и совместной муки считавшую себя его настоящей вдовой Анну Ахматову. В конце того же года умер Блок, и Лариса Рейснер (некоторые полагают, что это ее ревнивый муж Раскольников пораздел о включении Гумилева в списки «заговорщиков») писала Анне Ахматовой:

«Теперь, когда его уже нет, Вашего равного, единственного духовного брата, — еще виднее, что Вы есть, что Вы дышите, мучаетесь, ходите, такая прекрасная, через двор с ямами, выдаете какие-то книги ка-

ким-то людям — книги гораздо хуже Ваших собственных.

Милый Вы, нежнейший поэт, пишете ли стихи?

...Ваше искусство — смысл и оправдание всего».

Итак, известно было даже в верхах (эти люди, впрочем, уже уступали место другим сановникам и палачам, тем, которые стихов ни при какой погоде не читали), что Анна Ахматова — великая поэтесса. Она писала новые стихи, выпускала новые книги, переиздавались без конца старые: два сборника стихов вышло за 1921 роковой год... Надежда Мандельштам рассказывает, как они с Ахматовой и Мандельштамом бродили тогда «по острову Голодаю и странным рощам под Петербургом», куда молва посылала их «в поисках могилы расстрелянного Гумилева».

В начале двадцатых в каком-то иностранном журнале Анна увидела портрет Модильяни, похоронный крестик, некролог... Она узнала, что он стал великим художником и что его нет больше...

У нее было уже в ту пору множество поэтесс-подражательниц, имитировавших ее ритмы, слова, рифмы. Их стихи точно пародировали ее стиль, но подделать с ними ничего нельзя было — это была цена славы. Забавные пародии на стихи эмигрант-

ской «ахматовки» попадают в американском романе Набокова «Пнин». Говорили, что Ахматова раскрепостила женщин, научила их выражать свои чувства. Однажды, не выдержав этого потока подражательской пошлости, Ахматова написала «эпиграмму», которая кончалась так:

Я научила женщин говорить...  
Но, Боже, как их замолчать заставить!

Но примерно к 1925 году она смолкла сама. Ей больше не пелось. Причин этому было много, и объяснения всякий сам может без труда найти и в документах, и в цифрах, и в «расстрельных рвах», и даже в старинных баснях: «Плохие песни соловью в когтях у кошки...»

«...Последовало первое постановление Ц.К. о категорическом запрещении печатать мои стихи (1924)... — вспоминает Ахматова, — ...и до 1939 (т. е. 15 лет) ни одна моя строка не появилась в печати».

Что делает поэт, когда не пишется? Ждет, когда вернется вдохновенье. Сидит за столом. Ходит по комнате. Читает. Собеседует с кем-нибудь. Изучает жизнь Пушкина. Говорит, что он работает. На Западе работой называют то, за что платят. В тогдашней России все было сложнее. Всесильное государство иногда подкармливало оставленную на развод интеллигенцию...

Жизнь Ахматовой выдалась нелегкая. Она не только не знала, как зарабатывать деньги, но и печку не умела растопить. Она жила (до конца своих дней) в вечной зависимости — от мужьев и поклонников, от поклонниц своего таланта, от друзей и по-друг. Жила в вечных скитаниях, не имея своего угла... Она получила странное, российское полудворянское воспитание — не умела ни «зарабатывать на хлеб», ни содержать дом в порядке. Я встретил однажды в горах Словакии потомка знаменитой графской фамилии, в недавнем еще прошлом — владельца замка и всей горной долины. Он пригласил меня на ужин. В бывшей графской конюшне, где коммунисты после прихода к власти ему разрешили остаться, было красиво и чисто. (Правда, здесь никогда не было так страшно, как в России.) И вот граф работал бухгалтером в колхозе... Я спросил, как он пережил приход здешнего «социализма», как выжил? Граф ответил, что он получил «хорошее протестантское воспитание» и приучен был сам себя обслуживать. Ахматова ничего этого не умела...

Она снова вышла замуж — за искусствоведа Николая Пунина, и он привел ее к себе, в Шереметевский дворец на Фонтанке (Фонтанный Дом). В красивую квартиру с окнами, выходившими в старинный сад. В квартиру, где жила... его оставленная жена, вся прежняя его семья. Вероят-

но, больше ему некуда было ее вести. А ей... Ей больше некуда было идти. Крыша над головой (или «жилплощадь») стала недостижимой роскошью в стране, где деревня спасалась от голода и репрессий в переполненных, обнищавших городах...

Легко представить себе, как приняли новую «жилличку» в этой семье, вряд ли когда-нибудь простившей «злую разлучницу»...

Ты уюта захотела,  
Знаешь, где он — твой уют? —

писала она об этой жизни в чужом доме,  
где по ночам за окном

Шереметевские липы...  
Переключка домовых...

А жить становилось все страшней. Друзья исчезали по ночам. Ночью, замирая от страха и прислушиваясь к шагам и шуму мотоцилов, ждали «гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных». Так написал ее друг Мандельштам. Его самого для начала отправили в ссылку, в Воронеж. Анна навестила его там и написала стихи:

А в комнате опального поэта  
Дежурят страх и Муза в свой черед.  
И ночь идет,  
Которая не ведает рассвета.

Страх был не напрасным. И надежды на рассвет не было. Поистязав страхом,

Мандельштама отправили в лагерь — на муку и смерть. Ее собственный сын, Лев, тоже томился в тюрьме, потом в лагере, потом снова... Анна узнала, что такое женская очередь перед тюремными воротами — чтобы отдать передачу. Если передачу не брали, это значило, что человека уже нет. «Ликвидировали». «Как класс». Как живое существо. Как тварь Божию. Тех, кто приходил к воротам, тоже не ждало ничего доброго — они были родственники «врага народа» (Лева Гумилев ведь «пострадал как сын врага народа»). Весь народ был «врагом народа». А народом был сам «рыжий мясник» и его подручные из компартии и тайной полиции (они, впрочем, слились в один аппарат устрашения и подавления еще при плешивом палаче Ленине, убившем Гумилева-отца). Что до распятого и давно да же имя свое утратившего Петербурга, то...

...ненужным привеском болтался  
Возле тюрем своих Ленинград.

Впрочем, разве только этот многострадальный город страдал? Вся огромная, прекрасная страна (тоже ведь получившая вместо имени какую-то лживую партийную аббревиатуру) истекала кровью.

Звезды смерти стояли над нами,  
И безвинная корчилась Русь  
Под кровавыми сапогами  
И под шинами черных марушь.



Ахматова знала, что она и сама ходит по краю пропасти. Живет как помилованная или как оставленная в заложницы:

И до самого края доведши,  
почему-то оставили там —  
Буду я городской сумасшедшей  
по притихшим бродить площадям...

Каждый, кто пока еще был не «там», был как бы «помилован» великодушными властями и «органами», не успевавшими «выполнять план по врагам».

«В 1939, — вспоминает она, — Сталин разрешил печатать мои стихи». Почему разрешил? А почему запретил? Она вспоминает, что к тому времени, как немцы вошли в Париж, у нее вышел в Ленинграде томик стихов, но «он был запрещен, конфискован, выброшен из библиотек через месяц». Томик старых любовных стихов... Кто из французских поэтов, живших в оккупированном Париже, возьмется свидетельствовать, что Гитлер был дотошнее Сталина? И все же она начала снова писать стихи. Может, страх отступил на мгновение? К концу 1940 года Ахматова начала работать над большой и сложной «Поэмой без героя», которую писала до смерти. В одном из черновых вариантов было про незабвенного Амедео:

В черноватом Париж тумане,  
И наверно, опять Модильяни  
Незаметно бродил за мной.

У него печальное свойство  
Даже в сон мой вносить расстройство  
И быть многих бедствий виной.  
Но он мне — своей Египтянке...

Что играет старик на шарманке?  
А под ней весь парижский гул,  
Словно гул подземного моря, —  
Этот тоже довольно горя  
И стыда и лиха хлебнул.

Она собиралась в это время замуж за профессора Гаршина (который, впрочем, не дождался ее возвращения из эвакуации)... Ей вообще, можно сказать, не везло в браке, и она оставалась, по собственному выражению, «чужих мужей вернейшая подруга и многих безутешная вдова». Ей шел шестой десяток лет, она стала грузной, величественной, оставаясь по-прежнему красивой.

В России было все так же страшно, но и писать об этом было страшно тоже. Можно было, впрочем, написать о тьме, накрывшей Александрию, о гибели Клеопатры:

Уже целовала Антония мертвые губы,  
Уже на коленях пред Августом слезы лила...

А завтра детей закуют. О, как мало осталось  
Ей дела на свете...

Она тоже лила слезы, умоляя выпустить на свободу, не убивать единственного сына, закованного в цепи.

В тот год, когда в страшную Россию дошла весть об оккупации Парижа фашистами, у нее появилось ощущение, что погибла эпоха, мир. До того все-таки еще оставался где-то нормальный мир...

Когда погребают эпоху,  
Надгробный псалом не звучит...

И только могильщики лихо  
Работают. Дело не ждет!  
И тихо, так, Господи, тихо,  
Что слышно, как время идет.

.....  
Так вот — над погибшим Парижем  
Такая теперь тишина.

А потом была война с Гитлером, была эвакуация, был Ташкент... Она выехала на восток вместе с другими писателями. В Ташкенте болела, бедствовала — как все. Сам Жданов позвонил однажды из Ленинграда и попросил позаботиться о ее питании: может, было указание, что о писателях надо заботиться... О тех, кого еще не добились и кто стали таким образом «старейшими работниками литературы».

Н. Мандельштам цитирует в своих мемуарах отрывок из «Пролога», который Ахматова прочла ей в Ташкенте:

Из-под каких развалин говорю,  
из-под какого я кричу обвала,  
Как в негашеной извести горю  
под сводами вонючего подвала.

Именно так («под сводами вонючего подвала») описала поэтесса, хлебнувшая горя, эту счастливую жизнь, которую так пылко мечтали подарить Парижу, закабаленному всякими Де Голлями и Мендес-Франсами, сексуально и политически озабоченные французские собратья по перу (Элюар, Арагон и другие).

В конце войны Ахматова вернулась в уцелевший, выживший, хотя и порядком опустевший после сталинского террора и гитлеровской блокады Ленинград. Это было время патриотического подъема (в такой войне выстоять!) и наивных иллюзий интеллигенции (казалось, что Сталин все же лучше Гитлера, а уж теперь, после испытанного им испуга, после победы в войне и народного подвига, он, наверно, смягчится и перестанет кромсать и без того истерзанную страну). Иллюзиям конец был положен очень скоро. И так случилось, что под первый удар попала именно она, немолодая уже, очень знаменитая и такая патриотическая русская поэтесса. То, что партия должна была дать по носу (да с кровяной) этой Бог знает что возомнившей о себе и чудом уцелевшей интеллигенции, — это было в порядке вещей, укладывалось, так сказать, в рамки «революционно-тоталитарной педагогики» (как, скажем, и высылка пьющих инвалидов войны из столицы — я помню, как они все вдруг исчезли от пив-

ной у соседнего дома на углу Второй Мещанки). А то, что бедная Анна, немолодая уже, истерзанная, пуганая и битая Анна, наконец, великая поэтесса Анна попала в эту передрыгу, — это было, возможно, случайностью. Возможно, что на прежние ее грехи (вдова и мать «врагов», пишет о любви грустно) наложилась еще эта — о сколь преступная! — случайность...

На работу в Британское посольство приехал в ту пору в Россию сэр Исайя Берлин, литератор и философ русского происхождения. В США и потом в Лондоне он дружил с подругой Анны, некогда блистательной эгерией русских поэтов Саломеей Андрониковой, ко времени своего знакомства с Берлиным уже бывшей замужем за адвокатом Хальперном. Попав в Ленинград, Исайя Берлин отправился на поиски Анны Ахматовой, о которой столько слышал от своих друзей. Он нашел ее в Фонтанном Доме (где ей по возвращении пришлось поселиться в квартире первой семьи Пунина). Полная стареющая дама поднялась ему навстречу, кутаясь в шаль (Анне было уже близко к шестидесяти). Он был Гость Оттуда, первый гость из еще не захваченного коммунистами и оттого казавшегося сказочно свободным уголком земли («Гость из будущего», — назвала она его позднее в своей поэме). Ей было о чем его расспросить. Он встречал Саломею, он знал многих... А

ведь там, где-то в Париже, была и Оленька Судейкина... Их беседе, казалось, не будет конца, и легко представить себе, сколько топтунов из «наружного наблюдения», тарашась на ее окно, с как бы непринужденным видом прогуливались по этому глухому Шереметевскому саду. Еще бы: в дом два часа назад вошел человек из Британского посольства, агент Интеллидженс Сервис... Сэр Исайя утверждает, что он никогда не сотрудничал ни с какими секретными службами, и нас с Вами ему в этом убедить нетрудно. Хотя многие из его друзей с ними, с этими службами, все же (по его собственному признанию) сотрудничали, например муж Саломеи Андрониковой адвокат Хальперн. При этом Хальперн (как и его жена Саломея, как и ее подруга Мура Будберг, «железная женщина» Берберовой) был яростным «советчиком» (так что, может, кое в чем помогал и симпатичным ему советским органам). Если нас с Вами сэру Исайе и удалось убедить, что он не шпион, то «бойцов невидимого фронта», несших свою непыльную службу под окнами бес печной Анны, ему в этом убедить было бы гораздо труднее... Впрочем, то, что произошло дальше во время этой знаменитой встречи Ахматовой с «Гостем из будущего», и вовсе не укладывается ни в какие рамки допустимой при социализме потери бдительности, точнее даже, не лезет ни в ка-

кие ворота. Во время этого разговора в саду под окнами Ахматовой появился не кто иной, как сын «поджигателя войны» Уинстона Черчилля Рэндольф Черчилль. История совершенно фантастическая! Приехав в Ленинград, узнав в консульстве, что Исаяя отправился на свиданье к какой-то Ахматовой, Рэндольф пошел его искать и, встав под окнами Фонтанного Дома (как он только разыскал этот потаенный боковой двор и укромный сад за семью дворами и переходами? — вот уж кто наверняка был «связан»!), сложив ладони рупором, стал орать на весь свет:

— Исаяя, где вы? Исаяя!

Легко представить себе ужас топтунов, да и простых граждан тоже («Ах, не надо бы громко, не надо бы...»). Сэр Исаяя был тоже немало смущен и немедленно спустился вниз, чтобы унять шумного отпрыска самого сэра Уинстона...

Не берусь судить, какую роль сыграл этот незаурядный эпизод ахматовской жизни в выборе ее кандидатуры в главные жертвы очередного, устрашающего идеологического погрома. Может, он и подсказал этот выбор. Кандидатура и без того подходящая была — с одной стороны, знаменита, с другой — окружена «врагами народа» и морально небезупречна — мечется между будуаром и молельной. А тут еще такой случай. Может, сам мудрый пахан мирового

коммунизма был возмущен: такая была симпатичная на фотографиях и такой оказалась путан иностранной разведки... Может, он и на пристегнутого Зошенко (погром-то ведь полагалось учинять против группы заговорщиков) лично имел зуб, скажем, вычитал в какой-нибудь из нарочито безграмотных зошенковских фраз свое любимое словечко. Сам погром не был все же, скорей всего, вызван ни визитом англичанина в Фонтанный Дом, ни ахматовскими полузабытыми стихами двадцатилетней давности, ни зошенковским безобидным рассказом. Пора было испугать интеллигентов, возомнивших себя частью «народа-победителя» (они ведь сразу и всполошились после ждановского доклада: «Артиллерия бьет по своим!» Считали, что они свои, заодно с бандой, ан нет). Все шло как надо — удар по интеллигенции, инструктаж для «братских» отделений бывшего Коминтерна, начало «холодной войны» за окончательный захват Европы и мира, — почти подряд. Так что эпизод был большого, как говорят эрудиты, геополитического значения. А среди жерновов оказалась бедная, обездоленная Анна.

Погром начался на самом верху. Труженик Сталин «побеседовал» с редакторами ленинградских журналов. Потом Жданов полтора часа оглашал погромную резолюцию. И вот 14 августа 1946 года... В газетах постановление о журналах «Звезда»



и «Ленинград», ленинградское общегородское собрание писателей в Смольном — погром, погром, запах крови и мочи... Об Ахматовой говорили, как пишет в своем дневнике (очень лояльном — на случай обыска, — как все тогдашние дневники) старый поклонник Ахматовой и автор первой восторженной книги о ее творчестве Б. М. Эйхенбаум, что она буржуазно-дворянская поэтесса, декадентствующая, пессимистичная: «Одним словом — смертный приговор».

А ведь незадолго до этого автор дневника встретил Анну Андреевну в гостях и, вернувшись домой, записал:

«Ахматова была простой, веселой, чудной. Читала стихи, пила.

Ржавеет золото и истлевает сталь,  
Крошится мрамор: к смерти все готово.  
Всего прочнее на земле печаль  
И долговечней — царственное слово.

Это конец одного ее нового стихотворения... Ее сборник подписан к печати... Необыкновенная женщина — как Россия. И ни один человек, конечно, ничего не стоит перед ней — прежде всего как человек».

Но вот страшный август, и Б. М. Эйхенбаум, дерзновенно извинившись на трибуне, что ему все-таки не все легко «принять» насчет нехудожественности Ахматовой, однако воспев, как положено, мудрость ждановской абракадабры, голосует за ис-

ключение своей подруги... Он «должен» спасти свою недописанную книгу о Толстом, спасти свое место завкафедрой, спасти семью... Он ничего не спас, и в том же году потерял место, и не написал книгу, и умерла жена, и сам он был включен в новую группу для биття вместе с другими литературными евреями (в отличие от простоватого Гитлера, Сталин не называл их так грубо — они назывались у него то «безродными космополитами», то еще элегантней — «группой театральных критиков»). «Об А. А. сведения печальные, — пишет он в конце августа, — плохо с сердцем, совсем одна. Я не могу пойти после того, как принимал участие в голосовании». Да он и так не пошел бы... Но кто бросит камень в старого профессора? Ему было страшно. А уж как страшно было ей...

Я помню этот день — 14 августа 1946 года. Я был маленький, тощий, дочерна загорелый. Мы жили на даче в Загорянке, и я целый день носился по участку в длинных трусах. И еще я очень много читал. Газеты, конечно. И еще книги, если удавалось выклянчить у кого-нибудь. Любые книги, подряд. Иногда мне давал книги один старик, который снимал дачу по соседству. Говорили, что он театральный критик. Он и правда сидел весь день за столом и читал. Или писал. Иногда, впрочем, он ковы-

лял с палочкой по дорожкам — у него был недавно инсульт, и теперь он снова учился ходить. Днем он оставался один — его жена, довольно еще молодая актриса, уезжала в город и возвращалась поздно. В тот день он вдруг позвонил мне к забору. Я думал, что он снова попросит вернуть второй том Блока. Но он просто помахал газетой и спросил, читал ли я сегодня... Я думал, что он интересуется погодой или политикой. Но он показал на постановление.

— Ах это, — сказал я, — конечно, читал. Какой все-таки хулиган Зошенко!

— Но Ахматова... — сказал он с надрывом.

— Да, — сказал я радостно, гордясь своей осведомленностью. — Она мечется между иконами и будуаром...

Он смотрел на меня странно. Что было в этом взгляде — боль, страх, жалость? Я был уверен, что произвел на него глубокое впечатление. Но я был к этому уже привычен. Услышав глас народа, он заковылял прочь со своей газетой. Я вспоминал про этот разговор позднее, уже в университете, когда газеты объявили этого самого хромавшего по дорожкам А. Гурвича злостным космополитом. Ему припомнили, что он однажды признался (на людях), что с детства любил «Гамлета»... Дома у нас, впрочем, уже говорили в ту пору, что «люди в

белых халатах» еще опасней, чем театральные критики. Видимо, белые халаты помогали врагам скрыть от народа, что они обрезаются...

Одинокая Анна Ахматова слышала все это ежедневно — по радио и на улице. «Гость из будущего» прислал к ней для моральной поддержки в ее наспигованный микрофонами дом своих наивных студентов. Она смотрела в пустоту и разумно молчала в их присутствии. В странах «будущего» ее история наделала немало шума. В души самых подозрительных из левых интеллектуалов (простите за тавтологию, ибо слова эти в ту счастливую пору были синонимами) закралось подозрение, что в странах победившего социализма нет абсолютной свободы творчества. Впрочем, пошатнулись лишь малoverы. Французские коммунисты называли в те дни улицы парижских предместий именем интеллектуала Жданова. Коммунистическая парижская пресса (а кто ж из французских интеллектуалов побрезговал с ней сотрудничать?) была, похоже, просто в восторге от новых погромов. Эльза Триоле (неплохо через близкую к советским органам сестричку Л. Брик осведомленная о советских делах) писала, что «нежный садовник Фадеев» вырывает «сорную траву» (Ахматову, Зошенко, «театральных критиков», «космополитов») из плодо-

носящих грядок казенной литературы. Газета «Леттр франсез», позавидовав ахматовской судьбе, претендовала на помощь товарища Жданова и его твердую «спасительную руку» («Известно, какую огромную роль он играл для советских интеллигентов, и наберемся мужества, чтобы признать: эту роль он не может не играть за пределами СССР, в жизни мыслящих и читающих людей... Заходит ли речь об искусстве и литературе, о музыке или живописи... он протягивает спасительную руку, чтобы вывести художников из их противоречий...» — статья «Жданов и мы»). Лоран Казанова прочел в большом собрании интеллектуалов доклад о том, что «главными образцами и высшими достижениями современной науки явились труды Сталина по лингвистике и труды академика Лысенко»...

Завидные эти мероприятия добавили к первым двадцати годам страха Анны Ахматовой еще десять лет страха (итого тридцать — верните ей эти годы!). Снова пошли ночи, полные бессонного ужаса... («Помоги, Господь, эту ночь прожить», — писал ее друг Осип Мандельштам.) К страху за жизнь прибавлялся страх за сына, которого гноили в лагерях...

А потом (всего через семь лет) вдруг опрокинулся «рыжий мясник». Оказался не вечным. Может, его подручные помогли ему совершить этот переход в лучший мир.

Уже приготовленных к закланию «отравителей в белых халатах» выпустили на свободу и попросили забыть про все. Хрушев, проявив завидную расторопность, первым застрелил Берию, Эренбург, оплакав главного «борца за мир», стал либералом. Он-то и пустил в обиход слово «оттепель». Тут все поняли, что шестидесятичетырехлетней Ахматовой отныне разрешается жить. Заодно публика выяснила, что она еще жива. Общение с ней больше не было опасным. Напротив, оно стало почетным. Ей повысили пенсию (рубля на четыре) и даже дали крошечную дачку — «будку» в Комарове (в бывшей Финляндии, которая до того была бывшей Россией). Сын Лева вышел из тюрьмы, доучился, стал ученым. Но близости с матерью у него не получилось. Видно, слишком много у него накопилось обид — на мать, на весь мир. Ему казалось, что она, такая знаменитая, живущая «на воле», ничего не сделала для его спасения («Хороводишься с кем захочешь / За семь тысяч отсюда верст», — поется в «блатной» песне). У него вообще было немало претензий к миру, у бедного, искалеченного Левы (они нашли потом довольно уродливое преломление в его научных теориях).

Впрочем, Анна не оставалась больше одна, и если б не болезни, не старость, еще можно было б жить да жить. Чего не жить?.. Конечно, у большевистского соци-

ализма не может быть «человеческого лица», но вокруг нее (когда чуть-чуть отступил страх) появилось столько человеческих лиц. Она предпочитала молодые лица. Вокруг нее собрался кружок молодых поэтов. Она была для них веселой, необыкновенной собеседницей, собутыльницей, гениальной старшей подругой, вестницей из Серебряного века... И на дворе потеплело. Конечно, еще сажали время от времени. И даже убивали время от времени в подъездах. И стукачей вербовали почем зря среди хилых ленинградских и московских интеллигентов, жадных до побряжек и привилегий. Но силы у тоталитарного зверя были уже не те. И было уже не так страшно. Когда после мерзкого судилища отправили в ссылку самого талантливого из ее «мальчишек», Иосифа Бродского, которого она звала «рыжим», Ахматова сказала, что «они делают рыжему настоящую биографию» (все знали тогда, кто такие «они», а кто «мы»). Она не могла вообразить, конечно, что ее «рыжий» станет Нобелевским лауреатом, но в принципе прогноз ее оправдался. Подруга ее Надя Мандельштам, и ревнуя и сердясь отчего-то, так писала об этой новой ахматовской свите «последнего призыва»:

«Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости, окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых

годах. Ей даже мерещилось, что все в нее влюблены, то есть вернулась болезнь ее молодости... И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренно любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовишном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский».

Она стала в шестидесятые годы маститой и славной, неким благородным институтом диссидентской России. Помню, как мои друзья, молодые литераторы, ездили в Ленинград на поклонение — те, кого обещали «представить Ахматовой». Осмелевшие итальянцы присудили ей сицилийскую литературную премию «Этна-Таормина», и она слетала в Катанию, снова побывала в Риме.

По возвращении она решила дописать начатый шесть лет назад в подмосковном Болшеве крошечный мемуарный очерк о Модильяни. Она сказала как-то в разговоре с Надеждой Мандельштам, что от бывших любовных «романов» ничего не остается ни в душе, ни в памяти. Остается — когда настоящее. С Модильяни было настоящее. Модии прожил рядом с ней все эти тяжкие полвека. Его единственный уцелевший (или единственный ею сохраненный) рисунок все последние годы висел у нее в изголовье. Похоже было, что это единственное, что уце-



дело у нее от прошлого и чем она дорожит. Единственное ее достояние. Однажды, когда ей пришлось с одним из ее «мальчишек» (с А. Найманом) тащиться к нотариусу по поводу завешания о наследстве, она с тоской сказала своему спутнику, выйдя из нотариальной конторы на улицу: «О каком наследстве можно говорить? Взять под мышку рисунок Моды и уйти». От долгой жизни, полной поэтических триумфов, любовей, браков, страхов, остался рисунок лохматого тосканца, залог юной любви. Ахматова попросила искусствоведа Николая Харджиева написать несколько слов о любимом своем рисунке. Харджиев написал, что он похож по своей композиции на подготовительный рисунок для скульптуры. Что образ Ахматовой у Модильяни напоминает «аллегорическую фигуру «Ночи» на крышке саркофага Джулиано Медичи, этот едва ли не самый значительный и таинственный из женских образов Микеланджело». В общем, это вневременной, «ахроничный» образ поэта, «прислушивающегося к своему внутреннему голосу. Так дремлет мраморная «Ночь» на флорентийском саркофаге. Она дремлет, но это полусон ясновидящей».

Ахматовой заметочка эта очень понравилась. В ней было все, что нужно, чего ей хотелось, — и про будущие скульптуры

Моди, и про обобщенный (без личностей), вневременной образ поэта, и даже про ее ясновидение. Главное, что все было возвышенно и пристойно.

Теперь ей оставалось завершить свой очерк про Модильяни. Работа затягивалась. Проза вообще, похоже, давалась ей тяжело. Крошечные кусочки поэтической прозы, картинки, сны, запахи — еще куда ни шло, но чтоб засесть за очерк... Стихи или «шли», или «не шли». Проза у нее, вероятно, всегда шла с трудом. Оказалось к тому же, что она не так уж много помнит про него. Правда, книги помогли (или помешали?) — Карко, Жак Липшиц, какой-то французский роман, рассказы Эренбурга, фильм... Она мало помнила, а то, что помнила, не годилось для предания широкой гласности. Она теперь была пожилая, всемирно известная дама, и мало ли что могут подумать о ее прошлом, прочитав, что она... Нет, нет, и так уж эти ее ранние стихи говорили о ней Бог знает что... В старости она сказала однажды в поезде на дороге из Ленинграда в Москву поэту Михаилу Дудину: «Мы, поэты, — люди голые, у нас все видно, поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы мы выглядели пристойно». Вот эта «забота» о «пристойности» очерк ее и погубила. Все, что было существенного между ними, в нем надо было угадывать. И

про ее влюбленность («Он был совсем не похож ни на кого на свете» — фраза влюбленной женщины, «голос его как-то навсегда остался в памяти» — еще бы, если он звучит повсеместно в этом на всякий случай ею даже не упоминаемом в обычных перечнях сборнике ее стихов, в прелестном «Вечере»...), и про эти их ночи любви на улице Бонапарта, когда он писал ее «ню», воспламеняясь все жарче, потом откладывал карандаш, и она вдруг бледнела... Никаких «ню», разве только намеком, для самых внимательных, про эти ее «остальные» подаренные им рисунки. Никто их не видел в Петербурге... Да и везла ли она их в Россию? А если нет, кому могла оставить в Париже? Тому же Модильяни? Рассказы об их гибели — всегда разные — не слишком правдоподобны. Можно ли «раскурить на сигарки» такую бумагу? И кто ж сунет в печь обнаженную красавицу с бусами? В пропавших рисунках, как она сообщает, в большей степени «предчувствуются его будущие “ню”»... Почему «будущие»? В очерке даже еще осторожнее: в уцелевшем рисунке «меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие “ню”». Ну, а как рисуют, как пишут такие «ню»? Модильяни, как сказано в очерке, «рисовал» ее «не с натуры, а у себя дома». Так и видишь лукавую улыбку Ахматовой, сочинившей на-

конец элегантную фразу, в которой не так уж много нелепиц. Всего три фальшивых слова (считая предлог): «не с натуры». А с чего же он их рисовал, эти “ню”, с фотографий? Она не хуже других помнила известную фразу Модильяни о том, что «начать он должен с модели». Она была хорошей, любимой, волновавшей его моделью, и она передавала в старости слова Модильяни о том, что женщины, которых стоит писать, кажутся неуклюжими в платьях. Слыша в сотый раз эту фразу, любящие ее молодые поэты, вероятно, переглядывались, ибо она только что зачитала им это свое невообразимое «не с натуры». Доктор Поль Александр после одного из сеансов у Модильяни записал в своем дневнике: «Когда он был захвачен какой-нибудь фигурой, он лихорадочно, с необыкновенной быстротой рисовал ее при свете свечи, никогда ничего не исправлял, а по десять раз за вечер начинал заново один и тот же рисунок...» Ну да, и снова, и снова этот «взлетевших рук излом больной». «Изредка он добавлял одну или несколько деталей для создания атмосферы, — продолжает доктор Александр, — люстра, свеча в подсвечнике, кот... картина на стене для горизонтальности...»

Прочитав эту запись коллекционера, одна генуэзская славистка пришла в изумление: именно эти извечные атрибуты мож-

но разглядеть на рисунках Ахматовой — и свеча и кот (кошка?). Так, может, Модильяни приводил доктора к Аннушке по ночам? Боже, какое разнузданное воображение у слависток! Их же много на его портретах, этих свечей. Ибо, к нашему сожалению, он бывал «захвачен» и другими «фигурами». А кошки... Но не будем умножать сцены ревности: все наши герои уже там — и терпеливо ждут нас с Вами, читатель...

Соображения пристойности требовали, чтобы мемуарный очерк ее оградил Модильяни от обвинений в пьянстве (тут Анна была более строга, чем сиротка-дочь Жанна): не могла же она, замужняя царско-сельская дама (черноморскую шалую девочонку и шалеющую влюбленную поэтессу побоку, побоку), иметь дело с пьяным и прокуренным богемным художником. Так что он при ней не пил, она «ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином». И она не пила...

Конечно, она пишет правду о том, что он был учтив, не рассказывал ей о своих романах, как все другие, — у него словно и не бывало романов (во всяком случае, «очевидной подруги жизни у него тогда не было»). И вообще, он не говорил с ней «ни о чем земном». Известно, что он бывал благородным, как принц, по отношению к друзьям и к женщинам. Принц не по воспитанию, не по рождению даже —

по благородству природы (Ахматова пишет, что учтивость его была «не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа»). Недаром же монпарнасские девочки (о, с какой брезгливостью отодвинулась бы она за столик от беспутной и талантливой Кики, от «наездницы» Беатрис! Да как можно представить себе их в Его постели!) прозвали его «тосканским принцем». Это благородство было одной из его ипостасей. Перед ревнующим Гумилевым он предстал однажды в образе «пьяного чудовища». (Он и бывал таким: понятно, как мучительно было бедному Гумилеву представлять себе это «чудовище» в Ее постели!)

Итак, он никогда не рассказывал ей о женщинах. Но он и о друзьях ей не рассказывал тоже («не слышала от него ни одного имени...»), а у него ведь была куча друзей — на Монмартре, на Монпарнасе, в «Улье», в «Сите Фальгьер». Они говорили о снах, о поэзии, читали стихи, и он постеснялся признаться ей, что пишет стихи. Ее русские стихи звучали как музыка, как Верлен, как Данте, и он провидел, сколь она талантлива. «Я не слышала от него ни одной шутки...» — написала она с удивлением, видя и в этом его необычность, его неземное благородство. Но как можно шутить с иностранцем, не знающим твоего языка? К тому же италья-

янский юмор (как, кстати, и французский) так сильно отличен от русского.

Она много внимания уделила в очерке его бедности. Когда она села писать свой очерк, все иностранцы уже казались русскому богачами. Но в те времена, о которых она писала, было не так: небогатый дворянин и студент Гумилев мог из пособия, высылаемого зачем-то ему, взрослому мужчине, отцом, «отложить» на путешествие по Абиссинии. А молодая жена его могла вот так сесть и уехать в Париж, когда ей вздумается. А больному Амедео тетушка должна была выслать деньги на поездку за сотню верст в Нормандию. Конечно же, он беден был по сравнению с людьми «ее круга», редко «работавшими», издававшими за свой счет сборники своих стихов и считавшими (думаю, справедливо) писание бесплатных стихов работой. К тому же небольшое пособие, которое присылала ему мать, он пропивал, раздавал, тратил немедленно. Вот и они вдвоем разъезжали в экипаже по Булонскому лесу (прошай, плата за портрет и материнский почтовый перевод!).

Итак, он не знакомил ее со своими друзьями, а она прятала его от своих (в очерке сказано, что он не хотел, чтоб она подходила к нему на выставке с русскими друзьями, но думается, это скорее было опасно для нее, чем для него): у нее были для этого вес-

кие основания. Но и он тоже любил тайну. Он скрывал от художников свои скульптуры, а от скульпторов — картины. Немного раскрывал их с Максом Жакобом эзотерические штудии. Он скрыл от всех Анну (ее нет ни в чьих воспоминаньях, но ведь и портретную его Эльвиру дочь Жанна потом ни в чьих воспоминаньях не могла разыскать).

В конце концов оказалось, что Ахматова не слишком много может (и решается) рассказать соотечественникам о знакомстве со всемирно известным художником Модильяни. Ну да, они гуляли по Люксембургскому саду, они сидели в дождь под его старым зонтом на скамейках (на бесплатных — а с Гумилевым сидели на стульях, платных, железных)... Она обрушилась на его биографов, даже таких осведомленных, как Поль Гийом, дав волю ревности («Великая ревнивица!» — с завистью вздыхала тоже отнюдь не смиренная подруга ее, Надежда Мандельштам): да чему там могла научить его, интеллектуала и поэта, какая-то там наездница из Южной Африки, которую они вдобавок называют еще поэтессой (и это при том, что он знал в юности такую поэтессу, как она) и которая позволяла себе великого художника называть поросенком? Кого может «просветить» подобная невежа? «Могу и считаю необходи-



мым засвидетельствовать, — бушевала 75-летняя 'ревнивица, — что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой Х., то есть в 10-м году». Впрочем, это, пожалуй, единственные строки, где она дала себе волю. Остальное было сдержанно, пристойно и невнятно. И в общем, матерьялу не набралось даже на крошечный очерк. Тогда Ахматова стала дополнять его какими-то сведениями из календаря (на манер популярного еще тогда Эренбурга — о, как любила интеллигенция все эти перечисленья — докеры Тулона, горняки Астурии, виноградари Бургундии, Брак, Пикассо, Элюар, Арагон, Неруда, что-то они все делали у него, может, все еще боролись за мир...). У Ахматовой зачем-то умерли Вера Комиссаржевская, Лев Толстой, Врубель, Фокин поставил «Петрушку», Кафки и Пруста еще не было, Ида Рубинштейн играла Шехерезаду... Все это, конечно, не имело никакого отношения ни к ней, ни к Модильяни, но место кое-как заполняло...

Очерк этот, конечно, несколько разочаровал ее друзей и поклонников. Серьезный молодой ученый В. В. Иванов (сын писателя Всеволода Иванова, среди друзей и коллег более известный как Кома Иванов), сопоставляя стихи Ахматовой и ее устные рассказы с мемуарным очерком (в котором он

обратил внимание на упоминание о книжке Лотреамона, которую Модильяни вечно таскал в кармане), написал так: «Мне жаль, что в мемуарах, которые она дописала чуть позднее, нет этого раскованного озорства, так поражавшего в лучших ее стихах и в поведении с близкими. В прозе больше акмеистического петербургского хорошего тона».

На языке родных осин это значит, что Анна Ахматова снова выступает здесь в роли очень благопристойной царскосельской дамы («на нас глядит Европа вся»). И дальше у серьезного В. В. Иванова интересное наблюдение: «А можно ли о заумном (в хлебниковском смысле) «Мальдороре» Лотреамона в кармане у молодого Модильяни говорить в академическом духе, не сбиваясь самому на сюрреалистическую нелепицу?»

Думаю, что молодые друзья Ахматовой за рюмкой коньяка подтрунивали над этой «темниловкой» в присутствии почтенной озорной авторши. Не исключено, что она подхватывала шутку: одно дело — широкая публика или Озеров, которому можно рассказать бознать что, другое дело — свои люди. Смешнее всего сказал об этой истории «рыжий» (И. Бродский). Он сказал, что получилась у Анны Андреевны «Ромео и Джульетта» в исполнении особ царствующего дома». Ахматовой шутка

очень понравилась, и легко представить ее счастливый смех, опять же в компании, опять же за рюмочкой коньяка<sup>1</sup>.

Если забыть про болезни и про этот ужас, который высокопарно назван был когда-то «бегом времени» (да это же обвал, а не бег!), ей, в общем-то, после всей этой жуткой жизни, выпала счастливая старость...

В 1964 году Ахматова поехала в Англию по приглашению Оксфордского университета, присудившего ей почетную степень доктора. Если б она приехала на год раньше, она могла бы сходить на лондонскую выставку произведений Модильяни и, увидев там выставившийся впервые рисунок «Обнаженная с котом» (а может, и «Обнаженная с кошкой», как знать?), узнать в обнаженной себя саму, такую прекрас-

<sup>1</sup> Шутка эта очень понравилась генуэзской славистке А. Докукиной-Бобель, которая одной из первых опознала А. Ахматову на рисунках («ню») из коллекции д-ра П. Александра, выставленных в Венеции в 1993 году, и даже сообщила об этом в парижской газете «Русская мысль» за 20.X.93 (понятно, что подобное открытие можно было сделать и раньше, открыв наугад альбом рисунков Модильяни). Забавно, что генуэзская славистка приняла остроумную шутку Бродского всерьез, не уловив в ней и тени иронии, но о различии между итальянским и русским чувством юмора мы уже имели тут случай говорить. Так или иначе, открытие генуэзской славистки может оказаться полезным для искусствоведов, которым так трудно бывает атрибутировать работы Модильяни.

ную, стройную, с той самой ниткою африканских бус, в которых (как она и упомянула в очерке) он любил ее рисовать, приговаривая при этом, что «украшения должны быть дикарскими». (Конечно же, она не призналась в этом злополучном очерке, предназначенном для печати, что, кроме африканских бус, на ней во время этих сеансов ничегошеньки не было.) Что до египетского кота, которого Модильяни пририсовал в углу, то, хотя он в то время и увлекался египетским искусством, это вполне может быть все-таки не кот, а кошка. И притом не символ великого египетского искусства, а привычный ребус, который просто обожали монпарнасские художники, ибо одним и тем же словом — *chatte* — называют по-французски и кошку, и один из самых укромных и красивых закоулков женского тела. Вот вам и «Обнаженная с котом», рисунок № 47 в самом полном собрании графики Модильяни, вышедшем в Милане в 1992 году, составитель доктор Освальдо Патани (может, и придется изменить датировочку, доктор Патани, может, это был все-таки 1911, а не 1910, и тогда уж на улице Бонапарта, мебель (кресло) хозяйская, а кота там не было вообще, но, может, все-таки в любом случае лучше остановиться на кошке...).

Любопытно, что, если бы Анна Андре-

евна вдруг увидела себя в Лондоне на стене выставочной залы, пожаловав на выставку с друзьями? Неужели стала бы суесться, уводя своих спутников в дальний конец залы (как за полвека до этого суежилась, похоже, в парижском Салоне): «Идите сюда, господа, там не на что смотреть... А здесь вот портрет Мод Абрантес, между нами всегда, между прочим, находили сходство...» А может, и замерла бы перед рисунком, не в силах оторваться от юной красоты этого длинного тугого тела: «Неужели это я? Боже Всемогущий, что с нами делает время...»

В Лондоне она повидала (через двадцать лет) «Гостя из будущего» и (через пятьдесят) «отступника» Бориса Анрепа. Их лондонские дома показались ей слишком большими и богатыми после ее нищенской «будки» в Комарове, после России и Средней Азии (она и забыла уже, что люди могут так жить, придавать такое значение жилью, вещам — даже лучшие из людей...).

В Лондоне Ахматову разыскала некая мадам Мок из Парижа, которая по совету самого месье Гоголева (нет, не Гоголя, мадам) писала диссертацию о творчестве Оленьки Глебовой-Судейкиной. О каком еще творчестве? Она сама была результатом творчества, Творенья... Это ее фотография? Боже, что с ней стало! Но у меня

диссертация о творчестве, мадам, она ведь вышивала, пела, танцевала, лепила фигурки, переводила Бодлера — о, эти русские женщины... Вы знаете, мадам, что она умерла в Париже, как раз в то время, мадам, когда вы начали писать о ней в своей знаменитой поэме. Она жила в скудости, окруженная птицами — много-много птиц. В войну немецкая бомба попала в ее птиц...

Из Лондона Ахматова поехала в Париж. Париж полвека спустя — без Амедео, без Ольги, без фиакров... Еще жив был, впрочем, Георгий Адамович, некогда участник гумилевского Цеха поэтов. «При первой же встрече, — вспоминал старенький Адамович об этом их парижском свидании, — я предложил ей поехать на следующее утро покататься по Парижу... Она с радостью приняла мое предложение и сразу заговорила о Модильяни, своем юном парижском друге, будущей всесветной знаменитости, никому еще в те годы неведомом.

...Прежде всего Анне Андреевне хотелось побывать на рю Бонапарт, где она когда-то жила. Дом оказался старый, вероятно восемнадцатого столетия, каких в этом парижском квартале много. Стояли мы перед ним несколько минут. «Вот мое окно, во втором этаже... Сколько раз он

тут у меня бывал”, — тихо сказала Анна Андреевна, опять вспомнив Модильяни и будто силясь скрыть свое волнение».

Анна Андреевна Ахматова умерла в московской больнице год спустя, в 1966 году. Хоронили ее в Ленинграде. Хоронили как королеву. Непримиримая бунтарка Надежда Мандельштам писала по этому поводу, что она лишь раз видела «человеческое лицо у социализма», вернее, человеческие лица при социализме:

«Траур носят живые по мертвым, а я только один раз видела живые лица в Петербурге — Ленинграде — в многотысячной толпе, хоронившей Ахматову и оцепившей сплошным кольцом церковь Николая Морского... Толпа была молодая — студенты сорвали занятия и пришли отдать последний долг последнему поэту. Изредка мелькали современницы Ахматовой в кокетливых петербургских отрепьях. Невская вода сохраняет кожу, и у старушек были нежные призрачные лица...»

Надежда Мандельштам рассказывает, как плакал Лев Гумилев, как потерянно бродил осиротевший Бродский, с удивлением отмечает, как много было в толпе, хоронившей Ахматову, молодых евреев, в том числе и молодых евреев-выкрестов...

Похоронили Анну Ахматову в Комаро-

ве, там, где у нее была в годы ее старости дачка-«будка». Теперь вся петербургская элита мечтает быть похороненной на тенистом кладбище в Комарове — поближе к Ахматовой. Экскурсионные автобусы останавливаются у штакетника дачного забора, и экскурсанты, благоговейно смолкая, смотрят на неприглядную казенную дачку.

Ахматова написала когда-то о петербургских аристократах минувшего столетия:

«Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно».

В шереметевском Фонтанном Доме, в бывшей квартире Пуниных, открыли недавно музей Ахматовой. Ее трудно отыскать и почувствовать там, в этих пустоватых комнатах роскошной чужой квартиры, где она жила по инерции и по нужде... У нее ведь никогда не было быта, она была бездомная скиталица, вечный БОМЖ. Старушки-дежурные, праздно заполняющие коридор музея (нищенский приработок к нищенской пенсии), шепчут растерянному посетителю: «А рисунок-то Модильяни видели? Во-от он...» Ну да, конечно, и Модильяни — он тоже ведь был бездомный, подика сыщи в Париже его жилье... В старости

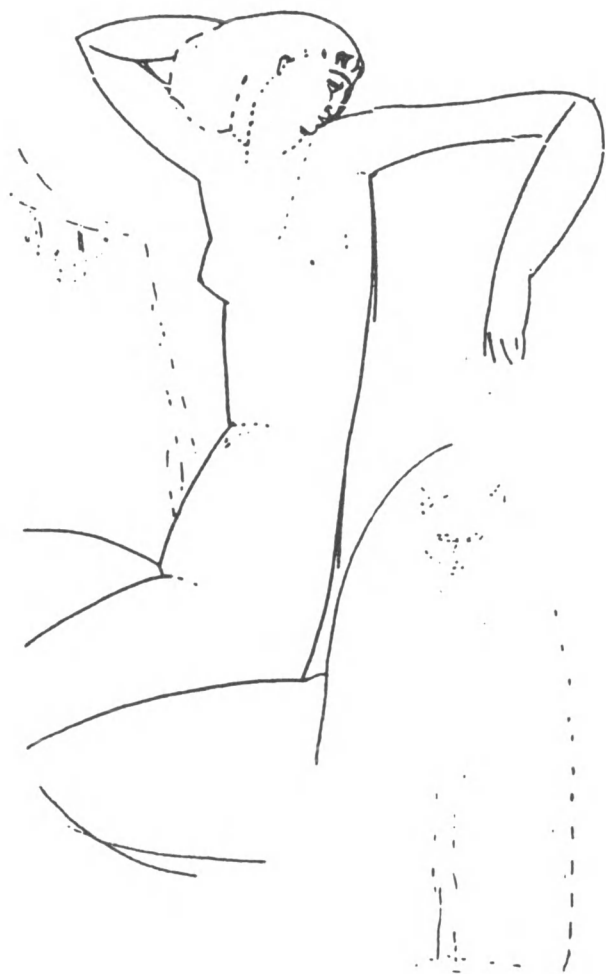


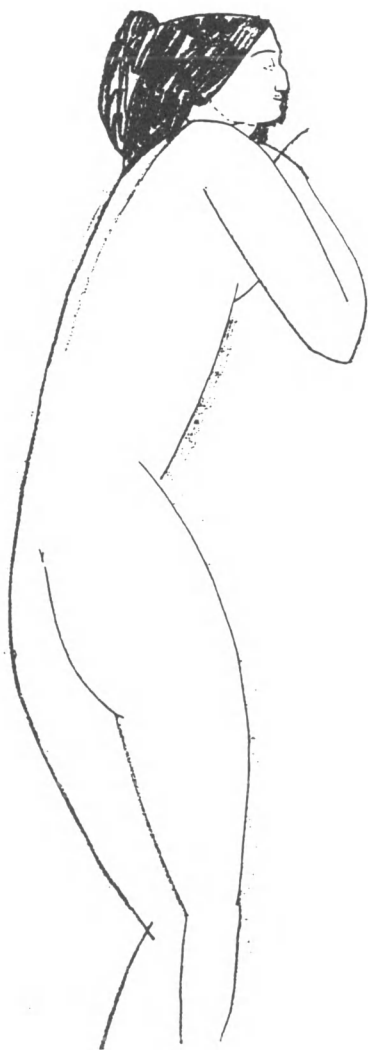
Она все поняла и, простив все, написала о своем молодом возлюбленном:

Этот тоже довольно горя  
И стыда и лиха хлебнул.

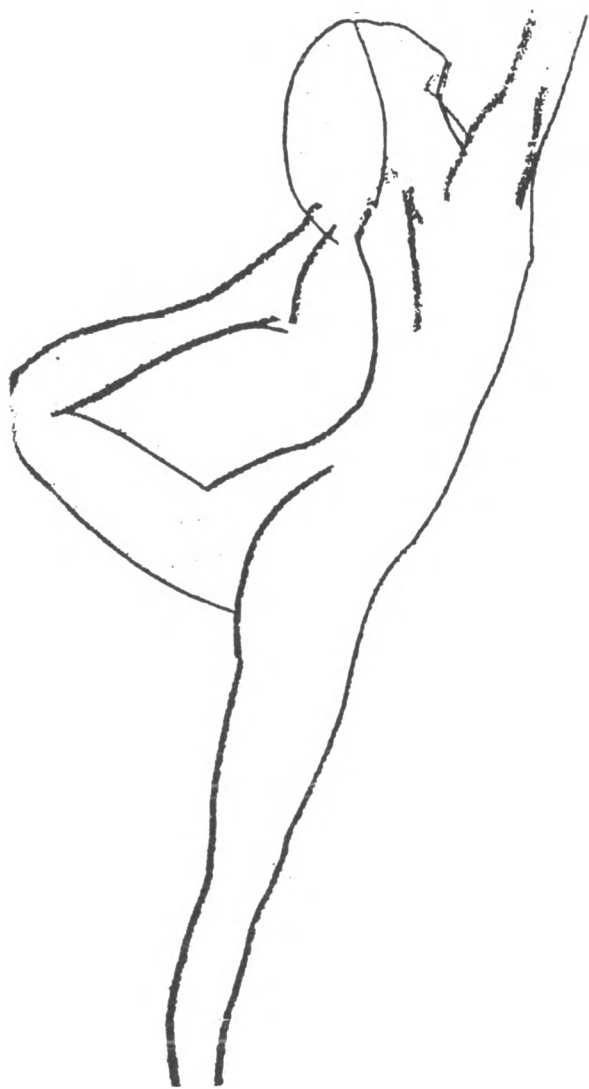
Но что пользы считаться горестями?  
Господь всех нас рассудит.

1996





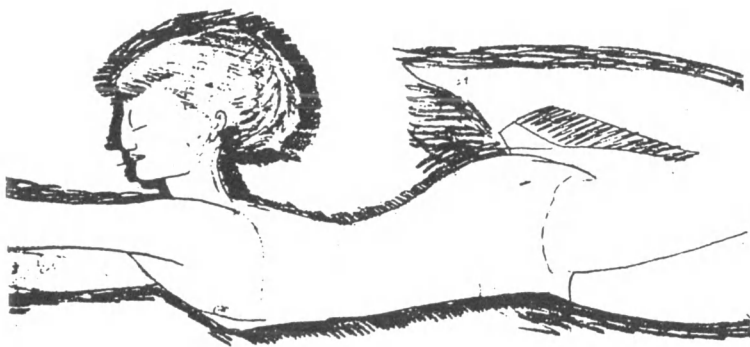








# Приложение







## Анна Ахматова Амедео Модильяни

Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала, и вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности (сияющую) — ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная двадцатилетняя женщина, иностранка; во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 1911 году. Он весь как-то потемнел и осунулся.

В 10-м году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне<sup>1</sup>. Что он сочинял стихи, он мне не сказал.

Как я теперь понимаю, его больше всего поразило во мне свойство угадывать мысли, видеть чужие сны и прочие мелочи, к которым знающие меня давно привыкли. Он все повторял: «On communique»<sup>2</sup>. Часто

<sup>1</sup> Я запомнила несколько фраз из его писем, одна из них: «Vous êtes en moi comme une hantise» («Вы во мне как наваждение»).

<sup>2</sup> О, передача мыслей (франц.).

говорил: «Il n'y a que vous pour réaliser cela»<sup>1</sup>.

Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни: его — очень короткой, моей — очень длинной. Дыхание искусства еще не обуглило, не преобразило эти два существования, это должен был быть светлый легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекало сны и пугало страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то рядом. И все божественное в Модильяни только искрилось сквозь какой-то мрак. Он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет. Как художник он не имел и тени признания.

Жил он тогда (в 1911 году) в Impasse Falguière. Беден был так, что в Люксембургском саду мы сидели всегда на скамейке, а не на платных стульях, как было принято. Он вообще не жаловался ни на совершенно явную нужду, ни на столь же явное непризнание. Только один раз в 1911 году он сказал, что прошлой зимой ему

<sup>1</sup> О, это умеете только вы (франц.).

было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом.

Он казался мне окруженным плотным кольцом одиночества. Не помню, чтобы он с кем-нибудь раскланивался в Люксембургском саду или в Латинском квартале, где все более или менее знали друг друга. Я не слышала от него ни одного имени знакомого, друга или художника, и я не слышала от него ни одной шутки. Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах. Очевидной подружки жизни у него тогда не было. Он никогда не рассказывал новелл о предыдущей влюбленности (что, увы, делают все). Со мной он не говорил ни о чем земном. Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа.

В это время он занимался скульптурой, работал во дворике возле своей мастерской, в пустынном тупике был слышен стук его молоточка. Стены его мастерской были увешаны портретами невероятной длины (как мне теперь кажется — от пола до потолка). Воспроизведения их я не видела — уцелели ли они? Скульптуру свою он называл *la chose*<sup>1</sup> — она была выставлена, ка-

<sup>1</sup> Вещь (франц.).

жется, у «Indépendants»<sup>1</sup> в 1911 году. Он попросил меня пойти посмотреть на нее, но не подошел ко мне на выставке, потому что я была не одна, а с друзьями. Во время моих больших пропаж исчезла и подаренная им мне фотография с этой вещи.

В это время Модильяни бредил Египтом. Он водил меня в Лувр смотреть египетский отдел, уверял, что все остальное (tout le reste) недостойно внимания. Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц и казался совершенно захвачен великим искусством Египта. Очевидно, Египет был его последним увлечением. Уже очень скоро он становится столь самобытным, что ничего не хочется вспоминать, глядя на его холсты. Теперь этот период Модильяни называют Période nègre<sup>2</sup>.

Он говорил: «Les bijoux doivent être sauvages»<sup>3</sup> (по поводу моих африканских бус) — и рисовал меня в них. Водил меня смотреть le vieux Paris derrière le Panthéon<sup>4</sup> ночью при луне. Хорошо знал город, но все-таки мы один раз заблудились. Он сказал: «J'ai oublié qu'il y a une île au milieu»<sup>5</sup>. Это он показал мне настоящий Париж.

<sup>1</sup> У «Независимых» (общество молодых художников) (франц.).

<sup>2</sup> Негритянский период (франц.).

<sup>3</sup> Драгоценности должны быть дикарскими (франц.).

<sup>4</sup> Старый Париж за Пантеоном (франц.).

<sup>5</sup> Я забыл, что посередине находится остров <Святого Людовика> (франц.).

По поводу Венеры Милосской говорил, что прекрасно сложенные женщины, которых стоит лепить и писать, всегда кажутся неуклюжими в платьях.

В дождик (в Париже часто дожди) Модильяни ходил с огромным очень старым черным зонтом. Мы иногда сидели под этим зонтом на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал *le vieux palais à l'Italienne*<sup>1</sup>, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи.

Я читала в какой-то американской монографии, что, вероятно, большое влияние на Модильяни оказала Беатриса X.<sup>2</sup>, та самая, которая называет его «*perle et pour-seau*»<sup>3</sup>. Могу и считаю необходимым засвидетельствовать, что ровно таким же просвещенным Модильяни был уже задолго до знакомства с Беатрисой X., то есть в 10-м году. И едва ли дама, которая называет великого художника поросенком, может кого-нибудь просветить.

<sup>1</sup> Старый дворец в итальянском вкусе (франц.).

<sup>2</sup> Цирковая наездница из Трансвааля (см. статью: Guillaume P. *Les arts à Paris*, 1920. № 6. С. 1—2). Подтекст, очевидно, такой: «Откуда же провинциальный еврейский мальчик мог быть всесторонне и широко образованным?»

<sup>3</sup> Жемчужина и поросенок (франц.).

Люди старше нас показывали, по какой аллее Люксембургского сада Верлен, с оравой почитателей, из «своего кафе», где он ежедневно витийствовал, шел в «свой ресторан» обедать. Но в 1911 году по этой аллее шел не Верлен, а высокий господин в безукоризненном сюртуке, в цилиндре, с ленточкой «Почетного легиона», — а соседи шептались: «Анри де Ренье!»

Для нас обоих это имя никак не звучало. Об Анатоле Франсе Модильяни (как, впрочем, и другие просвещенные парижане) не хотел и слышать. Радовался, что и я его тоже не любила. А Верлен в Люксембургском саду существовал только в виде памятника, который был открыт в том же году. Да, про Гюго Модильяни просто сказал: «Mais Hugo — c'est déclamatoire?»<sup>1</sup>

\* \* \*

Как-то раз мы, вероятно, плохо сговорились, и я, зайдя за Модильяни, не застала его и решила подождать его несколько минут. У меня в руках была охапка красных роз. Окно над запертыми воротами мастерской было открыто. Я, от нечего делать, стала бросать в мастерскую цветы. Не дождавшись Модильяни, я ушла.

Когда мы встретились, он выразил не-

<sup>1</sup> А Гюго — это декламатор? (франц.)

доумение, как я могла попасть в запертую комнату, когда ключ был у него. Я объяснила, как было дело. «Не может быть — они так красиво лежали...»

Модильяни любил ночами бродить по Парижу, и часто, заслышав его шаги в сонной тишине улицы, я подходила к окну и сквозь жалюзи следила за его тенью, медлившей под моими окнами.

То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов называлось «*vieux Paris*» или «*Paris avant guerre*»<sup>1</sup>. Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались «*Au rendez-vous des cochers*»<sup>2</sup>, и еще живы были мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня, но тогда говорили «Пикассо и Брак». Ида Рубинштейн играла Шехерезаду, становились изяшной традицией дягилевские Ballets Russes (Стравинский, Нижинский, Павлова, Карсавина, Бакст).

Мы знаем теперь, что судьба Стравинского тоже не осталась прикованной к 10-м годам, что творчество его стало высшим музыкальным выражением духа XX века.

<sup>1</sup> «Старый Париж» или «довоенный Париж» (франц.).

<sup>2</sup> «Встреча кучеров» (франц.)



Тогда мы этого еще не знали. 20 июня 1910 года была поставлена «Жар-птица». 13 июня 1911 года Фокин поставил у Дягилева «Петрушку».

Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдисона, показал мне в *Taverne de Panthéon* два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы — тут большевики, а там меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (*jupes-culottes*), то почти пеленали ноги (*jupes-entravées*). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.

Рене Гиль проповедовал «научную поэзию», и его так называемые ученики с прелестью неохотой посещали мэтра.

Католическая церковь канонизировала Жанну д'Арк.

Et Jehanne, la bonne Lorraine,  
Qu'Anglois brûlèrent à Rouen...<sup>1</sup>

Я вспомнила эти строки бессмертной баллады, глядя на статуэтки новой святой.

<sup>1</sup> И добрая Жанна из Лотарингии,  
Сожженная англичанами в Руане... (старофранц.).

Они были весьма сомнительного вкуса, и их начали продавать в лавочках церковной утвари.

\* \* \*

Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них таятся какие-то чудеса, а это были только первые робкие попытки (например, в «Аполлоне» 1911 года). Над «аполлоновской» живописью («Мир искусства») Модильяни откровенно смеялся.

Меня поразило, как Модильяни нашел красивым одного заведомо некрасивого человека и очень настаивал на этом. Я уже тогда подумала: он, наверно, видит все не так, как мы. Во всяком случае, то, что в Париже называют модой, украшая это слово роскошными эпитетами, Модильяни не замечал вовсе.

Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома — эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы Революции. Уцелел тот, в котором меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие «ню»<sup>1</sup>...

<sup>1</sup> Известный искусствовед, мой друг Н. И. Харджиев посвятил этому рисунку очень интересный очерк.

Больше всего мы говорили с ним о стихах. Мы оба знали очень много французских стихов: Верлена, Лафорга, Малларме, Бодлера.

Данте он мне никогда не читал. Быть может, потому, что я тогда еще не знала итальянского языка.

Как-то раз сказал: «J'ai oublié de vous dire que je suis juif»<sup>1</sup>. Что он родом из-под Ливорно — сказал сразу, и что ему двадцать четыре года, а было ему двадцать шесть.

Говорил, что его интересовали авиаторы (по-теперешнему — летчики), но когда он с кем-то из них познакомился, то разочаровался: они оказались просто спортсменами (чего он ждал?).

В это время ранние, легкие<sup>2</sup> и, как всякому известно, похожие на этажерки аэропланы кружились над моей ржавой и кривоватой современницей (1889) — Эйфелевой башней.

Она казалась мне похожей на гигантский подсвечник, забытый великаном среди столицы карликов. Но это уже нечто гулливеровское.

<sup>1</sup> Я забыл вам сказать, что я еврей (франц.).

<sup>2</sup> См. у Гумилева:

На тяжелых и гулких машинах  
Грозовые пронзять облака.

\* \* \*

...а вокруг бушевал недавно победивший кубизм, оставшийся чуждым Модильяни.

Марк Шагал уже привез в Париж свой волшебный Витебск, а по парижским бульварам разгуливало в качестве неизвестного молодого человека еще не взошедшее светило — Чарли Чаплин. «Великий немой» (как тогда называли кино) еще красноречиво безмолвствовал.

\* \* \*

«А далеко на севере»... в России умерли Лев Толстой, Врубель, Вера Комиссаржевская, символисты объявили себя в состоянии кризиса, и Александр Блок пророчествовал:

О, если б знали, дети, вы  
Холод и мрак грядущих дней...

Три кита, на которых ныне покоится XX век, — Пруст, Джойс и Кафка — еще не существовали как мифы, хотя и были живы как люди.

\* \* \*

В следующие годы, когда я, уверенная, что такой человек должен просиять, спра-

шивала о Модильяни у приезжающих из Парижа, ответ был всегда одним и тем же: не знаем, не слышали<sup>1</sup>.

Только раз Н. С. Гумилев, когда мы в последний раз вместе ехали к сыну в Бежецк (в мае 1918 года) и я упомянула имя Модильяни, назвал его «пьяным чудовищем» или чем-то в этом роде и сказал, что в Париже у них было столкновение из-за того, что Гумилев в какой-то компании говорил по-русски, а Модильяни протестовал. А жить им обоим оставалось примерно по три года, и обоих ждала громкая посмертная слава.

К путешественникам Модильяни относился пренебрежительно. Он считал, что путешествия — это подмена истинного действия. «*Les chants de Maldoror*»<sup>2</sup> постоянно носил в кармане; тогда эта книга была библиографической редкостью. Рассказывал, как пошел в русскую церковь к пасхальной заутрене, чтобы видеть крестный ход, так как любил пышные церемонии. И как некий, «вероятно очень важный господин» (надо думать — из посольства) похри-

<sup>1</sup> Его не знали ни А. Экстер, которая дружила в Париже с итальянским художником С. (Соффичи), ни Б. Анреп (известный мозаичист), ни Н. Альтман, который в эти годы (1914—1915) писал мой портрет.

<sup>2</sup> «Песни Мальдорора» (франц.).

стосовался с ним. Модильяни, кажется, толком не разобрал, что это значит...

Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу... А я услышала о нем очень много...

\* \* \*

В начале нэпа, когда я была членом правления тогдашнего Союза писателей, мы обычно заседали в кабинете Александра Николаевича Тихонова (Ленинград, Моховая, 36, издательство «Всемирная литература»). Тогда снова наладились почтовые сношения с заграницей, и Тихонов получал много иностранных книг и журналов. Кто-то (во время заседания) передал мне номер французского художественного журнала. Я открыла — фотография Модильяни... Крестик... Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он — великий художник XX века (помнится, там его сравнивали с Боттичелли), что о нем уже есть монографии по-английски и по-итальянски. Потом, в 30-х годах, мне много рассказывал о нем Эренбург, который посвятил ему стихи в книге «Стихи о канунах» и знал его в Париже позже, чем я. Читала я о Модильяни и у Карко, в книге «От Монмартра до Латинского квартала», и в бульварном романе, где автор соединил его с Утрилло. С уверенностью могу ска-

зять, что этот гибрид на Модильяни 1910—1911 годов совершенно не похож, а то, что сделал автор, относится к разряду запрещенных приемов.

Но и совсем недавно Модильяни стал героем достаточно пошлого французского фильма «Монпарнас, 19». Это очень горько!

*Болшево, 1958 — Москва, 1964*

## СОДЕРЖАНИЕ

### Анна и Амедео

Кратчайшее вступление . . . . .	5
Она — до встречи с ним . . . . .	7
Он — до встречи с ней . . . . .	34
Первая встреча . . . . .	65
Он — между первой и второй встречей .	82
Она — после первой встречи с ним . . .	86
Лето их любви . . . . .	101
Неотвязный Париж . . . . .	120
Амедео без Анны . . . . .	133
Анна без Амедео . . . . .	161

### Приложение

А. Ахматова. Амедео Модильяни . . . . .	225
---	-----



**Борис Носик**

**АННА И АМЕДЕО**

История тайной любви Ахматовой и Модильяни,  
или Рисунок в интерьере

Документальная повесть

ИБ № 6813

Редакторы *К. Атарова, Р. Кабина*

Художник *Р. Сайфулин*

Художественный редактор *К. Баласанова*

Технический редактор *Е. Макарова*

Корректоры *В. Лебедева, Н. Лукахина, В. Пестова*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор  
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Сдано в набор 08.07.97. Подписано в печать 28.07.97.  
Формат 75х90/32. Бумага офсетная. Гарнитура Сувенир.  
Печать офсетная. Условн. печ. л. 9,38. Уч.-изд. л. 7,36.  
Тираж 25 000 экз. Заказ 5054. Изд. № 8495.

Лицензия ЛР № 020846 от 23 декабря 1993 г.

ОАО Издательство «Радуга»,

121839, Москва, пер. Сивцев Вражек, 43.

АООТ «Тверской полиграфический комбинат».

170024, г. Тверь, проспект Ленина, 5.



